
«Институт выполнял роль центра исторической науки»: из воспоминаний учёных

В 2021 г. Институт российской истории РАН отмечает 85-летие своего основания. Созданный в 1936 г. Институт истории АН СССР, располагавшийся в особняке на Волхонке, 14, в 1960 г. переехал в более скромное здание на улице Дмитрия Ульянова, 19, а в 1968 г. был разделён на Институт всеобщей истории и Институт истории СССР, получивший в 1992 г. своё современное название. Сохранившийся массив официальных отчётов отражает основные направления его деятельности, публикаторскую активность, организацию и участие в различных мероприятиях. Но, разумеется, он не может передать живое отношение сотрудников к происходившему в институтских стенах. А его важно сохранить и зафиксировать, поскольку именно учёные, прочно вписавшие свои имена в историографию, и есть самое ценное, что было и остаётся у Института. В разное время в нём работали 21 действительный член и 12 членов-корреспондентов Академии наук, сотни выдающихся исследователей — докторов и кандидатов наук, сообща формировавших традиции главного научно-исследовательского учреждения страны в сфере отечественной истории.

Летом и осенью 2016 г. при непосредственном участии фонда развития гуманитарных исследований «Устная история» были записаны развёрнутые интервью с А.И. Аксёновым, В.П. Булдаковым, В.Я. Гросулом, А.Е. Ивановым, Н.А. Ивановой, Т.Ю. Красовицкой, Г.А. Саниным, А.Н. Сахаровым и В.В. Шелохаевым, а весной 2021 г. — с С.В. Журавлёвым, Ю.А. Петровым и И.М. Пушкарёвой. Они поделились своими воспоминаниями о различных сторонах жизни Института и его коллектива во второй половине XX — начале XXI в. Книга, включающая полный текст этих бесед с комментариями, в настоящее время готовится к печати. «Российская история» публикует журнальную версию их фрагментов. Разумеется, не следует ждать от рассказчиков документальной точности в передаче некоторых фактов. Часто они высказывают прямо противоположные оценки одних и тех же людей и событий. Но тем нагляднее это демонстрирует всю противоречивость и сложность истории Института.

Материал подготовлен В.Н. Кругловым, В.В. Тихоновым и Ю.С. Филиной

«Попасть сюда в то время было почти невероятной удачей»

И.М. Пушкарёва: В Институт истории АН СССР я пришла 1 июля 1950 г. Когда защитила диплом, старшие товарищи на истфаке говорили: «При распределении надо иметь в виду Академию наук, Институт истории, очень хорошее место». Пришла на Комиссию по распределению, на ней присутствовал учёный секретарь из Института истории А.М. Самсонов. Он имел возможность пригласить шесть окончивших истфак на кафедрах отечественной истории на должности младших научных сотрудников. И он вдруг, отозвав меня в сторону, стал уговаривать: «Какая аспирантура? Надо идти в Институт. Нужно идти к нам младшим научным сотрудником, прикрепиться, сдав не торопясь вступительные экзамены, взять тему или продолжить дипломную работу, написать диссертацию и навсегда обеспечить себя работой». Я осталась ему благодарна на всю жизнь за эту прекрасную рекомендацию.

Двухэтажный дом Голицыных на Волхонке был передан Институту красной профессуры и надстроен ещё на два этажа. Когда я открыла дверь со двора, меня поразило дыхание истории. В вестибюле рядом с гардеробом — большое зеркало XVIII в. в раме из красного дерева, мраморная лестница с витыми перилами каслинского литья. Вверх по мраморной лестнице поднялась на второй этаж — справа огромный зал, где проходил съезд колхозников-ударников, на котором выступал Сталин. А налево от этого зала шёл большой коридор. В конце его располагалось Отделение исторических наук. Жили историки, философы и экономисты, конечно, тесно и жаловались на тесноту. В нашем коридоре стояли старинные диваны, на них вели беседы сотрудники всех трёх институтов. Вспоминаю философа, хорошо известного потом учёного, А.А. Зиновьева, который всегда приходил подолгу с кем-то беседовать на наш чёрный большой диван. Любили его и историки, которые заходили из других учреждений или приезжали из Ленинграда. На втором этаже слева и справа были отгорожены комнаты: машбюро, партбюро, наш сектор истории СССР периода капитализма, сектор феодализма, бухгалтерия, сектор советского общества. Слева по коридору были сектора новой и новейшей истории, научный кабинет, библиотека, в том числе и художественной литературы с новейшими журналами, комната профкома.

Н.А. Иванова: Я поступила в Московский университет на исторический факультет, который окончила в 1960 г. И меня, как и несколько человек с курса, распределили в Институт истории. Тогда это был общий Институт, т.е. тут изучались и отечественная история, и история СССР, и всеобщая история. Мы работали на всяких должностях: научно-технического, младшего научного сотрудника, без степени, помогали нашим старшим коллегам, участвовали в сборе архивного материала. Почему нас распределили, в частности, меня? Здесь был создан сектор по написанию многотомной истории СССР, и нас брали как вспомогательных сотрудников. Когда мы были ещё студентами, на пятом курсе, К.Н. Тарновский нас водил на дискуссии, которые устраивали в Институте. Но тогда он находился в другом здании, на Волхонке, рядом с Музеем изобразительных искусств. Там мы познакомились со всем отрядом специалистов, которые занимались экономической историей. Возглавлял всё это дело А.Л. Сидоров. Он потом, когда я пришла, был уже директором Института, преподавал, и были его ученики, которые с ним работали, в том числе Константин Николаевич. Своя когорта была и у П.В. Волобуева. Институт, можно сказать, кипел, много дискуссий, было очень интересно работать.

Г.А. Санин: Поступил в Институт, в аспирантуру. Вот что меня поразило. Иду, читаю таблички на дверях: «Сектор истории феодализма», «Сектор древнейших государств», «Сектор периода капитализма», «Сектор истории Древнего мира», «Сектор истории Франции», «Сектор истории Канады». Боже ж ты мой! Куда же это я попал?! Со своим-то суконным рылом! Думаю, как же это мне в жизни повезло! И вот это ощущение величайшего счастья, оно у меня сохранилось навсегда. Сажу на заседании сектора истории феодализма. С глубочайшим интересом слушаю и думаю: как бы мне не забыть эти мысли! Корифеи же в секторе-то были. И Л.Н. Пушкарёв, и А.И. Клибанов, и Л.В. Черепнин, и А.А. Зимин, и Н.И. Павленко. И чтобы не забыть, о чём говорили, я стал для себя на каждом заседании записывать ход обсуждения работ. Уже когда защитил кандидатскую диссертацию, со мной поделились, что некоторые сотрудницы решили: раз записываю, значит, должен докладывать кому-то, кто

что говорит! А я без всякой задней мысли пишу, пишу... Очень сожалею, что эти записи свои не сохранил.

В.П. Булдаков: Я в известной степени в Институте оказался случайно. Мне, так сказать, повезло. Помогла И.М. Пушкарёва: она сказала П.Н. Соболеву, что есть вроде как хороший историк, возьмите его. Я за это дело ухватился. Но вынужден был заниматься Октябрьской революцией, не питая к этому никакой склонности, — хотелось заниматься дореволюционным периодом. Попал в подразделение, которое называлось «Сектор Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны», сокращенно «ВОСР и ГВ». Звучит, да? Руководил им Соболев — человек, мягко говоря, консервативных взглядов и убеждений. Писал о союзе пролетариата с беднейшим крестьянством, предлагал задуматься о понятии «политическая армия социалистической революции». Внутри сектора боролся с «групповщиной», старался уравновесить «новаторов» с «охранителями». Ну ничего, он уже был в возрасте, понимаете? Путал институтский коридор с больничным. Но публика была разная. Прямо скажем, работали там люди, весьма и весьма мне симпатичные. Их уже нет. Я до сих пор вспоминаю о них с удовольствием.

Ю.А. Петров: После окончания университета В.И. Бовыкин дал мне рекомендацию в аспирантуру Института, и в 1978 г., сразу по окончании истфака МГУ, я пришёл сюда, переполненный юношескими амбициями и иллюзиями. Получил «четвёрку» на экзамене по специальности и не прошёл в очную аспирантуру. Поступил в заочную аспирантуру, а работать пошёл в Государственный исторический музей, куда меня устроил тот же Валерий Иванович. В общем, всё было хорошо, кроме одного — у меня диссертация не шла, поскольку из-за нагрузки в музее на неё совершенно времени не оставалось. Я понял через какое-то время, что застрял и просто не смогу её завершить. Это был 1985 год. Тогда Валерий Иванович и предложил мне вакансию в его секторе буржуазно-демократических революций. Он меня пригласил на должность младшего научного сотрудника с окладом то ли 110, то ли 120 руб., что было раза в три меньше, чем в музее, с не очень ясными перспективами карьерного роста.

Я пришёл сюда и был поначалу не очень вдохновлен. И дело было не только в деньгах, хотя надо понимать, что тогда ситуация была совершенно иной, и молодому учёному заработать где-либо, помимо основного места работы, было практически невозможно. Публикациями? Кто возьмёт совершенно неизвестного человека? Грантов не было никаких, поэтому материальные соображения играли весьма существенную роль. Но главное, я попал в ситуацию, когда из хоть мало-мальских, но начальников и людей, с которыми считались, стал в 30 лет таким начинающим мальчишкой. Тем не менее я ни секунды не пожалел о переходе — здесь я получил возможность заняться наукой, о которой мечтал. Закончил диссертацию, потому что приобрёл, наконец, возможность и время этим заняться, и в 1986 г. её защитил.

С.В. Журавлёв: В Институт я попал в августе 1989 г. благодаря работавшему здесь моему научному руководителю С.О. Шмидту, а также проявившему участие в моей судьбе заместителю директора Института по науке В.П. Дмитренко. Как раз в это время я выходил на защиту кандидатской в моей *alma mater* — МГИАИ, и вставал вопрос: что делать дальше? А в Институте истории, который был на подъёме, в конце перестройки как раз происходили очень серьёзные и — прямо скажу — весьма привлекательные для научной

деятельности перемены. На слуху были имена Ю.С. Борисова, В.П. Данилова, В.С. Лельчука, Г.З. Иоффе и других сотрудников старшего поколения, которые в период перестройки часто выступали перед студенческой аудиторией, в СМИ. Призывали к отказу от идеологических стереотипов, к рассекречиванию советских архивов, к изучению «белых пятен» истории. Некоторые из выступлений сотрудников Института истории на «Исторических чтениях» в МГИАИ, где я учился в аспирантуре, носили по тем временам сенсационный характер (например, выступления Иоффе об изучении обстоятельств расстрела царской семьи) или даже отличались намеренной провокационностью. Такова, к примеру, была вызвавшая в то время настоящий ажиотаж тема доклада руководителя сектора истории культуры Института истории Ю.С. Борисова «Были ли социализм в СССР?».

Венцом горбачёвской демократии в академической среде стало то, что на административные должности в Институте истории, начиная с руководителя сектора или группы и заканчивая директором, в конце 1980-х гг. люди не назначались, как прежде, а избирались на альтернативной основе, прямым голосованием членов данного коллектива (сектора или института). Были введены и возрастные ограничения для занятия административных должностей. В результате сменилось не только руководство Институт и его подразделениями, но и шло обновление (и параллельно — общее сокращение) кадрового состава. Группа перспективных учёных (В.В. Шелохаев, В.В. Журавлёв, О.В. Хлевнюк и др.) была «рекрутирована» в ИМЛ при ЦК КПСС и в другие партийные научные структуры. Им на смену приходили другие учёные, полные желания «двигать науку», освободив её от идеологической парадигмы. Среди тех, кто, как мне кажется, особенно многое сделал в то трудное время для сохранения лучших традиций Института и для его обновления, я вспоминаю В.П. Дмитренко — избранного коллективом на этот пост заместителя директора, курировавшего советский период. Блестящий исследователь, специалист по истории нэпа, многие работы которого до сих пор не утратили актуальность, Дмитренко проявил себя и на организаторском поприще. Вспоминаются также его глубокие концептуальные доклады на Учёных советах рубежа 1980—1990-х гг. В то время Институт бурлил дискуссиями о переоценке советского прошлого, что во многом увязывалось с потребностью рассекречивания архивов, источниковедческого анализа вводимых в оборот документов, с включением отечественной науки в контекст мировой историографии. Коллизия заключалась и в том, что стремительность и радикальный характер процессов тех лет, желание общества найти простые ответы на сложные вопросы (между прочим, не только на «историческом фронте», но и в сфере экономики и в политике) не очень соответствовали сложившемуся ритму академической жизни и научному стилю полемики.

Если вернуться к вопросу о том, как я в августе 1989 г. оказался принят на работу в Институт, то я так понимаю, что Шмидт заранее отрекомендовал меня Дмитренко. До этого я про Институт, конечно, слышал, немного знал некоторых сотрудников, например, по их выступлениям на кружке источниковедения в МГИАИ, которым руководил Шмидт. Нужно сказать, что я со студенческих лет интересовался источниковедением, по этой специализации писал и кандидатскую диссертацию.

Итак, в 1989 г. мне позвонили из Института и пригласили на приём к Дмитренко. Здание пустовало, август — время отпусков. В назначенное время

к кабинету также подошёл худощавый человек лет сорока пяти. Оказалось, что это А.К. Соколов — руководитель сектора советского источниковедения, в который Шмидт с Дмитренко решили меня определить. Так, в кабинете Дмитренко я впервые познакомился с Андреем Константиновичем, который в дальнейшем сыграл огромную роль в моей научной судьбе и которого я считаю своим вторым учителем, наряду со Шмидтом.

Соколов только в 1987 г. пришёл в Институт, по академическим меркам он считался молодым учёным и перспективным руководителем подразделения. Сразу после краткой беседы мне предложили идти в отдел кадров оформляться. Не скрою, для меня Институт истории СССР был пределом мечтаний, олицетворением самой высокой научной планки: здесь наши кумиры работали, и попасть сюда в то время было почти невероятной удачей. Поэтому когда меня приняли на работу на должность младшего научного сотрудника, причём даже ещё до формальной защиты кандидатской, я был, конечно, совершенно счастлив.

Примерно с этим периодом связана одна любопытная история, красноречиво свидетельствующая об институтских нравах. Дело было в начале 1990-х гг., тогда произошёл очередной всплеск интереса к москвоведению. В Институте было решено создать временную группу для написания очередной версии «Истории Москвы». Дмитренко почему-то решил, что я, 30-летний кандидат наук в должности м.н.с., мог бы возглавить такой научный коллектив. Он вызвал меня в кабинет и ошарашил этим предложением. Я обратился за советом к Шмидту. Тот, хорошо зная негласные институтские правила, сказал, что я, конечно, не должен руководить сотрудниками, имеющими более солидные научные должности и заслуги. Если, конечно, не хочу испортить репутацию в коллективе. Следуя мудрому совету Шмидта, я отказался от предложения Дмитренко.

«Институт был живой»

И.М. Пушкарёва: Институт истории СССР, куда я пришла на работу, был молод, ему было всего 14 лет. Работали в нём, включая научно-технических сотрудников, около ста человек, может быть, с бухгалтерией и другими службами чуть больше. Численно он увеличился к концу 1960-х гг., к тому времени, когда его разделили на два, он вырос в три или четыре раза. Историки в Академии наук были «обласканы» властью. В 1950-е гг. не только возросло число кандидатов и докторов наук, но и появились новые академики, члены-корреспонденты. Греков долгое время один имел академическое звание. А в 1953 г. избрали в академию А.М. Панкратову и Н.М. Дружинина, в 1958 г. — М.В. Нечкину и Е.М. Жукова. Рост числа докторов и кандидатов способствовал подъёму общей научной атмосферы, оживлению деятельности Учёных советов, диспутам в секторах и в Институте, особенно после XX съезда КПСС.

Сотрудники, доктора и кандидаты наук, должны были приходить в присутственные дни — во вторник и четверг — прямо к началу заседаний в секторах — к 14 ч. Институт заканчивал работу в 17.30. Но младшие научные сотрудники без степени, как и, естественно, научно-технические, должны были приходить в 9.30 и до окончания работы оставаться на месте в секторе. До 1953 г. каждый должен был перевешивать металлический круглый табелёк, как на заводе; табельная доска находилась около отдела кадров. На ней значились приход-уход. У каждого сотрудника имелся стол, и здесь шла вся техническая работа.

У нас, младших научных, должна была быть зарплата 1 200 руб. и это было не мало и не много. 4 тыс. получал доктор наук. Но, будучи присланными в Институт по распределению, мы должны были два года «отработать» здесь. Сначала получали 730 руб. в месяц, через некоторое время дали 840, 1 200 я стала получать, когда заканчивала диссертацию в конце 1950-х гг.

Свободно уходить с работы в течение рабочего дня никто не мог. Если нужно было идти в библиотеку, сверять цитаты, библиографию и т.д., мы расписывались об уходе в специальной книге: ушёл в такую-то библиотеку, в такой-то архив. Время от времени нас ждала массовая проверка присутствия в библиотеке или архиве. Приходил сотрудник отдела кадров и сверял, кто сидит в зале. В архивы звонили: «Скажите, у вас сегодня работает такая-то?». После 1953 г. уход с работы в библиотеки и архивы перестал строго контролироваться. Все уходы стали зависеть от заведующих секторами.

За время работы младшим научным сотрудником без степени мне довелось вычитывать и сверять, забирая с пишущих машинок, многие «рукописи» Н.М. Дружинина, В.К. Яцунского, И.Ф. Гиндина, Ю.З. Полевого, В.М. Хвостова, М.В. Нечкиной, М.К. Рожковой, Л.М. Иванова и др. Это были авторы «Очерков по истории СССР», которые не были изданы в годы войны и остались лишь макеты. Их переделывали, заказывали по-новому. Я была бригадиром томов «Очерков», где главными редакторами были Нечкина и Яцунский (их так и не издали, поскольку началась работа над многотомной историей; в «Науке» вышли только «Очерки», подготовленные в секторе истории феодализма). Вываться из этого позволяли только аспирантура и диссертация. К тому же младшие научные сотрудники со степенью получали 2 тыс., а становясь старшими, если удавалось издать книгу, — 3 тыс. Но это было непросто: бумаги в стране не стало, в архивах продолжали списывать с хранения дела, чтобы получить «оборотки». Ставки в Академии наук историкам было получить нелегко.

В 1952 г. для прикрепления к аспирантуре я сдала кандидатский минимум по трём предметам: по истории России XIX в., по философии и иностранному языку. С французским у меня проблем не было, читала тогда свободно «Юманите». Философией занималась в семинаре крупного философа М.А. Лифшица вместе с такими аспирантами, как Ф.М. Бурлацкий, Г.Х. Шахназаров, М.И. Пискотин. В аспирантуре я надеялась продолжить исследование, начатое в дипломной работе «Грановский в общественно-политическом движении в 40—50-е годы XIX века». Но заведующий сектором истории капитализма Л.М. Иванов прямо мне сказал, что диссертация о либерализме и Т.Н. Грановском нежелательна. В Институте о его научных трудах писала тогда С.А. Асиновская, и её коллеги очень волновались, подходили ко мне и просили изменить тему. Профессор Б.П. Козьмин, сотрудник нашего сектора и директор Литературного музея, предложил заняться деятельностью Н.К. Михайловского в «Отечественных записках». Но и тут Иванов заявил, что изучение народников не входит в планы Института. Только в 1957 г. в секторе создали группу под руководством Б.С. Итенберга, которая специально занималась народничеством. Козьмин посоветовал изучить переход «Отечественных записок» с позиции народничества на позиции революционного марксизма. Составив пространный план-проспект, снова подошла с Козьминым к Иванову. Однако Леонид Михайлович настойчиво рекомендовал выбрать один из отрядов рабочего класса и изучать его историю, упомянув, что металлистами уже кто-то занимается в Ленинграде. Рабочему движению 1905—1907 гг. в Институте тогда уделялось

особое внимание. Иванов, защитивший в 1939 г. под руководством Дружинина кандидатскую диссертацию «Государственные крестьяне Московской губернии и реформы Киселёва», лишь выполнял указания начальства. Сам он в то время заканчивал докторскую диссертацию о революции 1905 г. на Украине. Внезапно Козьмин решил, что мне нужно взяться за железнодорожников. Я согласилась. Позже Борис Павлович пояснил, что в этом случае придётся столкнуться со служащими, среди которых будут не только большевики, но и эсеры, либералы. Однако по этой теме он не мог руководить подготовкой диссертации. Между тем в комнате, где шёл разговор, находился Полевой, писавший работу о зарождении марксизма в России. Он был очень хороший человек, кандидат наук, получивший лишь начальное образование, посещая хедер, а затем уже окончивший партийную школу. По заданию сектора я не один раз считывала и редактировала его рукописи, что было для него полезно, и мы не первый год состояли в дружеских отношениях. Поэтому, когда я обратилась к нему, он сразу же выразил готовность стать моим научным руководителем. Иванов, помедлив, посмотрел в окно и произнёс: «Ну, и хорошо».

Леонида Михайловича больше всего интересовало участие железнодорожников во Всероссийской октябрьской политической стачке 1905 г. К 1950 г. её история, как ни странно, оставалась «белым пятном». В ней видели пример руководящей роли большевиков в рабочем движении. Но она бы не состоялась, если бы не железнодорожники. Тема диссертации подразумевала анализ революционной активности не только рабочих железнодорожных мастерских, но и тесно взаимодействовавших с ними служащих, среди которых руководящую роль играли уже не большевики, а члены Всероссийского железнодорожного союза, имевшего бюро в Москве и способного дать команду о прекращении движения и т.д. А это позволяло отойти от схемы «Краткого курса».

Ведомости штатного содержания, квартирного и прочего довольствия в 1905 г. помогли установить численность рабочих и служащих на главных железных дорогах, раскрывали их материальное положение. Обработка этих данных легла в основу моей статьи в третьем номере только что созданного журнала «История СССР». Это было очень почётно и являлось большим событием в жизни начинающего историка. В следующей статье, вышедшей в 1958 г. в «Вопросах истории», я корректировала представления о гегемонии пролетариата, показав рост числа служащих из средних социальных слоёв в рядах зачинателей стачки.

Писать диссертацию приходилось в свободное время, одновременно с плановой работой в архиве, связанной с составлением документальных сборников, и с помощью Гиндину в его подсчётах, касавшихся финансового положения России. Когда текст был напечатан, Полевой, как руководитель, его полистал, поставил подпись. А 18 апреля 1959 г. я успешно защитила диссертацию на заседании учёного совета Института. Одним из оппонентов выступал Н.Н. Яковлев, окончивший Институт красной профессуры и руководивший в 1938 г. устройством Исторической библиотеки, затем несколько лет бывший директором Библиотеки им. Ленина. Вскоре учёные из США копировали рукопись диссертации, переданную в Ленинскую библиотеку, и опубликовали её для внутреннего пользования в штате Вирджиния, где занимались историей железных дорог. Узнав об этом, я с согласия Иванова задумала расширить своё исследование и издать его в виде книги.

После защиты меня сделали учёным секретарём сектора многотомной «Истории СССР». В течение 10 лет я участвовала в подготовке шестого тома и, в частности, главы, посвящённой Февральской революции. Писал её Сидоров, а мне нужно было подбирать для него материалы в архивах. В 1966 г. он умер, и нам с С.В. Тютюкиным пришлось дорабатывать так и не дописанный им текст. Только в 1968 г., после выхода в свет последнего тома первой серии этого издания, я вернулась в сектор истории капитализма.

Общественная жизнь в Институте переплеталась с научной и зависела от многих факторов и обстоятельств, прежде всего — от изменений, происходивших в стране. Очень важен был авторитет профкома, располагавшего неплохими финансовыми возможностями и помогавшего в решении бытовых и материальных проблем. В 1950-е гг. им довольно долго руководил крупный учёный-востоковед профессор А.Ф. Миллер. Это был большой, рассудительный, улыбчивый человек. Его в Институте любили и обращались по всем, даже научным, делам. И он как-то всегда быстро их устраивал, даже если требовалось вмешательство дирекции или хозяйственной администрации.

Именно он склонил филолога Л.Н. Пушкарёва к тому, чтобы освещать научную и общественную жизнь Института в стенной газете, как это тогда было принято и в учебных заведениях, и на заводах. Газета «Советский историк» два раза в год вывешивалась в длинном коридоре, где на несколько метров растягивались 8—10 склеенных листов ватманской бумаги. Её профессионально оформлял рисунками, карикатурами, дружескими шаржами сначала аспирант, а потом младший научный сотрудник В.Д. Тельпуховский. В здании на Волхонке к ней стекались даже экономисты и философы с третьего и четвёртого этажей. Она дружелюбно, но критически отражала успехи и недостатки научной работы секторов и отдельных сотрудников, результаты дискуссий, работу дирекции. Случалось, недовольные шаржами жаловались в Краснопресненский райком. Начиналась проверка, но ничего антипартийного не обнаруживалось, и газета продолжала жить, а её редактор даже премировался райкомом. Её существование прекратилось при В.М. Хвостове, ставшем в 1964 г. академиком.

Профком организовывал и оплачивал культурный отдых сотрудников: посещение выставок, музеев, театров и т.д. В 1950-е гг. среди молодых сотрудников и аспирантов обнаруживались разносторонне развитые таланты. На Новый год и к 8 марта устраивались капустники, которые будоражили жизнь учёных не только молодого, но и среднего и старшего поколений. Некоторые включились в написание текстов для «капустников». Был также объявлен конкурс пирогов. Для него 8 марта 1956 г. 58-летняя М.К. Рожкова, доктор наук и вдова Н.А. Рожкова, испекла пирог с вязигой «Проклятое прошлое». На иных капустниках критиковалось в шутливой форме и институтское начальство. Больше пяти лет в Институте действовал театральный кружок во главе с приглашёнными из театров актёрами (сначала Н.Д. Тимофеевым, а затем — М.М. Новохижиным, будущим директором ГИТИСа). Он участвовал в городских конкурсах театральных коллективов, выступал на сцене театра на Таганке. А.О. Чубарьян танцевал у нас в пачке маленького лебедя. Профком выделял средства на многодневные лыжные походы в подмосковные деревни, где ещё не было электричества, с лекциями о международном положении и концертами художественной самодеятельности.

Раздел Института истории СССР в 1968 г. был плохим делом и для коллектива, и для науки. Особенно это стало ощущаться после переезда в другое

здание Института всеобщей истории. Исчезло то, что взаимно обогащало русистов и «всеобщников». Разъехались институты не сразу. Сначала с улицы Дмитрия Ульянова уехало Отделение исторических наук, которому Президиум АН дал помещение на Ленинском проспекте, затем туда же переместился Институт этнографии. Институт археологии переезжать отказался, и тогда соответствующее предложение получил Институт всеобщей истории.

А.Н. Сахаров: В 1950-х гг. коридоры институтские были полны, никто на месте не сидел. Я и до сих пор помню коридор третьего этажа: серьёзные учёные, доктора наук, известные люди — А.А. Зимин, Л.Г. Бескровный, Н.В. Устюгов, В.К. Яцунский — ходили под ручку и разговаривали друг с другом. Эти дискуссии коридорные были замечательны, в них рождалось много интересных идей. Сейчас коридор пустой, нет ни одного человека. Может быть, это потому, что для этого есть комнаты, где люди встречаются, беседуют, спорят...

В.Я. Гросул: Институт жил очень активной научной жизнью. Это было самое начало 1960-х гг. — период «оттепели», эпоха оптимизма. В Институте имелось несколько очень хороших семинаров для аспирантов: Е.Н. Городецкого, М.Я. Гефтера, К.Н. Тарновского. Взаимоотношения складывались достаточно простые, у нас не культивировалась заносчивость. Аспирантов тогда насчитывалось немало. Насколько помню, на моём курсе обучалось до 30 очников и заочников по отечественной и зарубежной истории. Среди них целый ряд людей, преданных науке и ставших серьёзными исследователями, — С.В. Тютюкин, В.А. Кучкин, Н.А. Иванова, В.Н. Малов, А.В. Гордон. Мы как-то делились между собой, хотя общались постоянно в разных формах: или в рамках секторов, или на различных общественных мероприятиях — вечерах, капустниках, субботниках, воскресниках, на картошку ездили, капусту убирали, и там очень близко соприкасались.

В семинаре у Б.Ф. Поршнева мы ещё в начале 1960-х гг. довольно основательно занимались западной методологией, и я очень ему благодарен за то, что он расширил наш кругозор, привил нам вкус к проблемам методологии, не только методики. Мы ещё тогда хорошо знали А. Тойнби. Борис Фёдорович в этом отношении был прекрасно подготовлен. Он долго жил во Франции, затем написал «Политэкономия феодализма», «Феодализм и народные массы», занимался проблемами формации, во многом я являюсь его последователем в этом отношении и тоже, как и он, формационщик, как был, так и остался, хотя изучал разные методологии и одно время увлекался даже концепциями анархистов. Но пришёл к выводу, что лучше формационной теории пока ничего не создано. Очень сожалею, что наших школьников не учат этому, мне приходится своих студентов в какой-то степени подтягивать в этом отношении. А ведь терминология марксистская используется во многих странах, от неё никуда не денешься. Ну, куда денешься от производительных сил, от производственных отношений, а их, кстати, мало знают сейчас наши аспиранты: не читали 24-й главы «Капитала», не говоря уже о «Капитале» в целом. Мне же пришлось «Капитал» в какой-то степени осваивать в оригинале, на немецком языке, поскольку была необходимость, связанная с моей кандидатской диссертацией. А немецким я не так уж хорошо владею, пришлось мучиться.

Поршнев — фигура во многом уникальная, но хорошо известная. Это был человек очень талантливый, увлекающийся, заводила, генератор идей, доктор исторических и философских, кандидат биологических наук — какую-то рыбку нашёл, сделал кандидатскую диссертацию. «Борис Фёдорович, а зачем Вам это

нужно? — А ради интереса, чтобы себя самого уважать». Выдающийся историк и мыслитель, он выдавал часто идеи разных проектов, некоторые из них были реализованы, другие — нет. Например, большой проект по истории революций. Он возглавил этот коллектив, который начал с того, что подсчитал общее количество революций, немалая работа была проделана. Но Борис Фёдорович скончался в 1973 г., и почему-то эту задумку не реализовали. Во многом потому, что наш Институт разделили.

Вообще-то я должен был стать аспирантом Б.Ф. Поршнева, но он уехал в заграничную командировку, и в конце 1961 г. моим научным руководителем стал Н.М. Дружинин. О чём я, конечно, не жалею. Ему тогда было 75 лет, и мои товарищи говорили: «Ну, он не доживёт до твоей защиты». А он пережил всех их руководителей, прожил сто лет и шесть месяцев. Естественно, я долгие годы общался со своим учителем. Он — выдающийся историк, общепризнанный, его любили все, поскольку это был эталон культуры историка и очень хороший человек. Когда отмечали его юбилей, Б.А. Рыбаков говорил, что в каждом городе должен быть праведник, наш праведник — Николай Михайлович Дружинин. Правда, С.С. Дмитриев поправил: нет, должно быть два праведника... Правда, Николай Михайлович мне говорил: «Ну, какую я школу создал! Никакую школу я не создавал». А я про себя думаю: да зачем Вам создавать школу, когда Вы выше всяких школ. Он возвышался над всеми.

М.В. Нечкина была очень талантливый историк, блестяще, красиво владевшая французским языком, увлекающийся человек, но с ней можно, конечно, было дискутировать. Она занималась не только декабризмом, не только революционным движением, но и методологией, и историографией. Я с ней общался, не могу сказать, что очень тесно, однако немало от неё почерпнул.

Конечно, были школа М.В. Нечкиной, школа Л.В. Черепнина — в области феодализма, школа Владимира Терентьевича Пашуто — по Древней истории, была общепризнанная школа И.И. Минца — по Октябрьской революции, школа Е.Н. Городецкого — по советскому источниковедению, а по источниковедению феодальному — школа В.И. Буганова. И.М. Майский был дипломатом, а не профессиональным историком, но у него много интересных книг по Испании, Англии. Я уже не говорю о таких профессионалах, как А.И. Неусыхин, М.М. Смирин, А.А. Новосельский, Н.В. Устюгов, А.С. Нифонтов, А.М. Анфимов — крупнейший специалист по истории крестьянства России Нового времени, крупный историк-аграрник, В.К. Яцунский, который возглавлял комиссию по истории сельского хозяйства и крестьянства. В Институте было у кого поучиться. У меня не так много было аспирантов, где-то около 13. Думаю, сейчас на местах, в республиках, работают наши выпускники, которые сами создали свои школы.

Докторскую диссертацию я защитил в январе 1975 г., мне было 36 лет. Я тогда стал самым молодым доктором по истории в Советском Союзе. Это была редкость, поскольку как-то не было принято, чтобы защищались до 40. Между кандидатской и докторской необходима дистанция, я 10 лет выдержал, однако пришлось поспешить, поскольку отец мой смертельно заболел и сказал: «У тебя три книги, надо защищать, потому что мне осталось немного, у семьи появятся материальные проблемы». Мама была пенсионерка, сестра моя инвалид, жена как младший научный сотрудник получала немного, двое детей. При защите возникли некоторые проблемы: «Ты куда лезешь, малый?». Но защитился. Зарплата у меня была неплохая — 400 руб. Наука находилась почти на первом месте по оплате.

Четыре года я был председателем профкома Института, и хорошо помню, что у нас было 550 членов профсоюза: около 500 сотрудников и порядка 50 пенсионеров. Тогда профсоюз вёл большую работу, раз в 10 большую, чем сейчас. И это, конечно, была большая нагрузка. Поэтому я потом очень радовался, что ушёл и смог спокойно отдаться только проблемам науки. Помимо прочего, профком занимался премированием и социалистическим соревнованием. Каждый год подводили итоги: какой сектор занял первое место, кто из сотрудников дал наибольшую отдачу, выдавали значки «ударник коммунистического труда» или «ударник пятилетки». Для этого была своя продуманная шкала оценки в баллах: кто и что издал, какова сложность решения задачи, участие в конференциях, научно-вспомогательная и публикаторская работа, написание примечаний и много других показателей.

Как председатель профкома я отвечал и за культуру. Мы в обязательном порядке отмечали Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 7 ноября. На каждый праздник приглашали (естественно, за плату) актёров из лучших московских театров. У нас выступали И.В. Ильинский, А.П. Кторов, Н.О. Гриценко, А.П. Зуева, ещё молодой Г.В. Хазанов. Сценарии капустников обычно писали заранее, одним из мастеров тут был Л.Н. Пушкарёв. Латинист А.В. Подосинов, работавший у В.Т. Пашуто, оказался очень талантливым актёром, мы всегда с интересом его слушали. Сейчас он заведует кафедрой древних языков в МГУ. Для детей организовывали ёлки, в них обычно участвовали профессиональные артисты, а Деды Морозы были наши (тот же Саша Подосинов). Несколько раз в год за счёт средств профкома совершались разного рода экскурсии. Мы хорошо изучили Подмоскovie, иногда уезжали и дальше.

Н.А. Иванова: Старшее поколение на заседаниях сочиняли стихи, друг на друга эпиграммы писали. Неформальная жизнь тоже была очень активной и интересной — устраивались вечера и капустники. Мы выступали, даже куда-то ездили — тогда было распространено чтение всяких лекций через общество «Знание», ну и просто поездки. Контакты были очень тесные. Институт был «головным» в стране в области отечественной истории. Сейчас мы общаемся в основном заочно, через литературу, очень много работ выходит. А тогда общались напрямую — через руководителей или через группу по истории рабочего класса и Совет по истории Октябрьской революции, где знали практически всех учёных, которые работали по данной тематике на периферии. Если устраивалась конференция, то посылали приглашение этим людям. Конференции по аграрной истории проводились в разных городах, где имелись «аграрники». Приезжали люди сюда и просили, скажем, оппонентов для защиты, отзывы какие-то, привозили монографии, давали отзывы. Были дискуссии в журналах, были прямые каналы связи с Ленинградским отделением Института и с другими учреждениями АН — на Урале, Дальнем Востоке, в Якутии, с вузами. Формально они все были связаны, и если что-то требовалось, то приезжали сюда (к тому же Л.М. Иванову) и советовались, какой сюжет взять, что актуально. Так Институт выполнял роль центра исторической науки.

Когда в секторе намечался какой-нибудь интересный доклад, собирались все. Устраивались обсуждения, было интересно. Но интересно или неинтересно, два раза в неделю ходили обязательно. В конце 1970-х или начале 1980-х гг., когда начались всякие «закрутки гаек» по части дисциплины, нам предписали являться каждый день утром и расписываться в журнале, что ты ушёл в библиотеку, или сидеть на рабочем месте. Но это было недолго, потому что кабинеты

у нас маленькие и многого здесь не сделаешь, можно только общаться. Пытались устанавливать контроль, вводились план-карты (это такая тетрадка, где записывались каждый сотрудник, его плановая тема и что он должен сделать в этом году), по которым отчитывались поквартально. Планировалось написать где-то 20 печатных листов, максимум — 25. Но, бывало, человек не успевал закончить монографию за положенные пять лет, потому что вклинивались другие работы (то справку «сверху» поручат подготовить, то коллективный труд, то юбилей), тогда сроки сдачи плановой монографии переносились.

У неостепенённых сотрудников зарплаты были очень низкие, да и кандидаты и доктора испытывали необходимость искать подработки в вузе или где-то ещё. Но всё-таки жить было можно. Сотрудники никаких привилегий не имели. Но было общее правило, что кандидат наук может иметь дополнительные 12 кв. метров площади, если получает квартиру или покупает кооператив. Никому квартиры не давали, однако уже в 1960-х гг. стоял кооперативный дом АН СССР на пересечении улиц Вавилова и Дм. Ульянова, и в нём можно было купить квартиру. Но для этого требовалось прописаться в Москве. А это оказывалось, наверное, труднее, чем купить, потому что прописку давали или в Моссовете, или ещё выше. Тем не менее наши руководители, в частности П.В. Волобуев, нескольким сотрудникам такую прописку обеспечили. В Институте создавали сектор народов, и приглашали учёных из разных городов, в том числе В.Я. Гросула, подавали список, просили дать прописку под кооператив. И ряд учёных, которые были у нас аспирантами, включили в этот список. Так В.В. Шелохаев, П.Н. Зырянов, Н.Ф. Бугай получили возможность приобрести кооперативные квартиры. И я тоже в этот список попала, и выехала из своего Нахабино в Москву.

Почти все сотрудничали с обществом «Знание» — не скажу, что в обязательном порядке, но почти. Эта организация распределяла лекции по нужной проблематике (какая-то кампания или юбилей), и мы выступали в Москве на разных предприятиях, в цехах или в учреждениях. Если коллектив состоял из интеллигенции, можно было делать более или менее серьёзный доклад, мог получиться и какой-то разговор. Но часто это была профанация, всё делалось формально, «для галочки». Это называлось «знания в массы»: во время перерыва рабочие слушали, что тогда-то и так-то готовилась революция, прошёл какой-нибудь пленум ЦК и т.п. Они кушают, а им рассказывают... Ещё устраивались поездки по Советскому Союзу. Был прекрасный выезд в Армению. У нас учился аспирант Симонян, и вот через «Знание» мы ездили в Ереван и там выступали, посмотрели кое-что. Гонорар если и был, то очень маленький. Дополнительно заработать было непросто.

Г.А. Санин: В секторе истории феодализма под руководством Л.В. Черепнина я прошёл хорошую археографическую школу у Т.С. Майковой и Е.П. Подъяпольской. Подготовка очередного тома «Писем и бумаг Петра Великого» — это всё-таки высший класс археографии, какого я уже не встречаю в современных изданиях. Черепнин распорядился, чтобы до тех пор, пока группа не завершит подготовку 13-го тома (нам на это отводилось 5 лет), никакой другой работы не делать. И действительно, у меня доведение кандидатской диссертации до монографии прекратилось.

Как проходили заседания в секторе феодализма? Обсуждали мы однажды, откровенно говоря, совершенно слабую работу северокавказской исследовательницы об отношениях России с народами Северного Кавказа в конце XVIII в. Женщина стройная, чернобровая — красавица невероятная! И её драконят

все выступающие, особенно Е.Н. Кушева! Подъяпольская пишет записку Л.Н. Пушкарёву: «О, грозный Лев! Неужели и ты вонзишь свои когти в эту прекрасную газель?». Пушкарёв ей отвечает: «Да, завертелась карусель! Погибла бедная газель!». Дальше эта записка попадает в руки А.И. Клибанову, и он прибавляет: «Пусть ей поставили нули, но сердце будет вечно юно! И я с неистовством Меджнуна пою волшебную Лейли!».

В другой раз обсуждали текст исследователя из Перми, посвящённый перерастанию мелкотоварного производства в промышленность. Он усматривал его уже в конце XVIII в. и, в частности, утверждал: «Так соль постепенно, в процессе товарного производства, превращалась в серебро». Меня это задело. А работа скучнейшая: соль, соль и соль. Клибанов пишет, уже от скуки: «Что делали бы мы без соли? У Грина не было б Ассоли, у Грига не было б Сольвейг...». И дальше записка переходит ко мне. Я тогда ещё в аспирантуре учился. Думаю, для такой работы надо что-то попроще, приписываю: «А в артиллерии б без соли не знали б до сих пор буссолей!». И заканчиваю: «Однако соль как ни мусоль, всё ж серебром не сделать соль!». Клибанов увидел, улыбается, показывает — хорошо!

Что мне действительно мешало — это наша научно-организационная работа. В 1975 г. из сектора феодализма А.Л. Нарочницкий перевёл меня в сектор истории внешней политики России. В нём работало 28 человек. Я был учёный секретарь. Постоянно требовались всевозможные справки, отчёты, характеристики; когда учёным секретарём Института была Т.В. Осипова, бумаги шли одна за одной. Я сотрудников не загружал, составлял сам, но очень много времени уходило. Алексей Леонтьевич, конечно, годовой отчёт сектора не писал — он академик, директор, заведующий, — а писал я, 15 лет. Но это было и полезно, между прочим — для расширения кругозора и систематизации представлений о внешней политике.

А.И. Аксёнов: Академия в советские времена всё-таки жила ещё старым уставом. А старый устав — вольный: каждый свободен в выборе режима рабочего дня, подхода к раскрытию темы и всего прочего. Когда я в 1969 г. только пришел в Институт аспирантом, Н.И. Павленко, обращаясь к молодым, сказал: «Мы работаем в учреждении, может быть, единственном в Советском Союзе. Вы сами себе хозяева, но легко при этом впасть в один грех — грех ничего неделания, и единственное, что может вас спасти от этого греха, — самодисциплина». Вдруг объявили кампанию за укрепление дисциплины, ну и всё — постоянные звонки из отдела кадров: «А вот у вас там есть такой-то исследователь али нету?». Всяко бывало. Вообще такие кампании устраивались под определённого человека. Ежели начальству требовалось убрать какое-то лицо из Института, возможности для этого были хорошие — нарушение дисциплины, по формальному признаку.

Как правило, в секторах заседания проводились по поводу обсуждения какой-то темы, доклада какого-то сотрудника, и это было обязательным, непременным присутствием. И тогда обсуждения в научном смысле были строже, потому что отношение было совсем другое, требовательнее, что ли. Может быть, уровень учёных был немного другой, поэтому и обсуждения проходили подчас с очень хорошей, серьёзной критикой. Но эта критика, я должен сказать, никогда не переходила к уничтожению. Бывали довольно серьёзные замечания, но до оргвыводов они не доводились, это были сугубо научные суждения.

В.В. Шелохаев: Сотрудники сектора истории капитализма отнеслись ко мне, прибывшему в Институт в 1969 г. с периферии, со вниманием, деликатностью и готовностью помочь. Это никогда не забывается. Это был большой научный коллектив: К.Н. Тарновский, А.Я. Аврех, И.Ф. Гиндин, К.Ф. Шаццлло, П.Г. Рындзюнский, Э.С. Виленская, М.С. Волин и многие другие. В секторе работали представители разных поколений, что позволяло сохранять преемственность, передавать накопленный опыт. Среди сотрудников были те, кто прошёл сталинские лагеря (С.М. Дубровский, Э.С. Виленская, И.Ф. Гиндин), горнило Великой Отечественной войны, кто вступил на научную стезю в послевоенный период и в «оттепель». Нам, молодым аспирантам, было у кого поучиться и выдержке, и полемическому таланту, и мужеству переносить с достоинством гонения бюрократов от науки. Со своей стороны я испытывал к моим коллегам искреннее уважение и признательность, ибо каждый из них был личностью и уже сделал себе имя в науке. Такая же обстановка доброжелательности и подлинного увлечения научными изысканиями царила в те годы и в Институте в целом. Это был огромный коллектив, включавший археологов, этнографов, специалистов по всеобщей и отечественной истории. И все они умещались в одном здании. Нас, молодых аспирантов, разместили в общежитии на ул. Вавилова, за которое в те годы мы платили символическую сумму — 2 руб. 50 коп. в месяц. Завтраки, обеды и ужины в столовой также стоили копейки. Мы жили по трое в комнате со всеми удобствами. Эти условия способствовали усердной работе в архивах и библиотеках. В Институте была своя специализированная библиотека, в которую по межбиблиотечному абонементу можно было выписать любую литературу.

В советский период отношение к науке измерялось не материальными показателями. В науку, как правило, шли не за заработком, а по зову души. Когда я выбирал будущую профессию, не возникал вопрос: сколько мне будут платить, хватит ли для существования. Вместе с тем АН содействовала строительным кооперативам сотрудников, имела разветвлённую сеть санаториев, домов отдыха, лечебных учреждений. Кандидаты и доктора получали довольно высокую заработную плату (320—400 руб. в месяц), которая позволяла им безбедно жить, покупать книги, выписывать газеты и журналы (причём не только сугубо профессиональные), регулярно посещать театр и кино, с комфортом проводить длительные летние отпуска.

Общественная жизнь в Институте была разнообразной. Это партийные и профсоюзные общеинститутские собрания (то же в секторах), разного рода юбилейные даты (например, 50-летие Института), вечера художественной самодеятельности с приглашением артистов театров, встречи, организуемые самими сотрудниками. Часто приглашались выдающиеся полководцы, видные политические и общественные деятели, крупные отечественные и зарубежные учёные. В памяти остались встречи с маршалом И.Х. Баграмяном, президентом АН СССР А.П. Александровым, Т. Хейердалом. А какие в Институте были «капустники», в которых принимали активное участие доктора и кандидаты наук!..

Я с ностальгией вспоминаю то неповторимое время. И вижу особое благоволение судьбы в том, что продолжил работу в секторе истории буржуазно-демократических революций в России после защиты кандидатской диссертации. Работа над ней была завершена досрочно, в 1971 г., и меня приняли на работу на должность научно-технического сотрудника, поскольку я не имел московской прописки, а после её получения — на должность младшего научного сотрудника. Конечно, какие-то шероховатости в работе больших кол-

лективов неизбежны, но если руководитель не только талантлив, но и открыт для творческого диалога, ситуация, как правило, складывается плодотворная. Так, на протяжении почти 15 лет моего учёного секретарства у нас с руководителем сектора В.И. Бовыкиным конфликтов не возникало, а трения преодолевались переговорным путём. Вообще, сектор всегда занимал лидирующие позиции в Институте, а его сотрудники часто поощрялись. При этом существовали контрольные тетради, в которых сотрудникам следовало фиксировать своё пребывание в течение рабочей недели. Временами проверку этих записей осуществляли сотрудники отдела кадров. Иногда прибытие сотрудников регистрировалось у дверей Института. За невыполнение плана мог грозить выговор. Пришлось мне несколько лет пробыть членом народного контроля, который контролировал выполнение сотрудниками плановых заданий.

До прихода в 1974 г. А.Л. Нарочницкого на пост директора Института научная работа сотрудников состояла в подготовке индивидуальных монографических исследований, на которые давалось 5 лет. Алексей Леонтьевич же решил сосредоточить усилия на подготовке обобщающих трудов по истории рабочего класса, крестьянства и национальных регионов. Видимо, считал, что над коллективными трудами легче осуществлять «идеологический» контроль. Но они отнимали огромное время, которое тратилось на бесконечное обсуждение глав, их переработку и проч. Впрочем, он допускал и возможность работы над индивидуальными монографиями, лично осуществляя контроль над их тематикой. Так, например, по его указанию изменили название моей первой монографии, подчеркнув её идеологическую направленность.

В.П. Буддаков: После «оттепели» начался какой-то необратимый процесс. Да, действительно, были заморозки, но с людьми что-то такое случилось, что возврата к прежнему уже не могло быть. Я пришёл в 1967 г. в сектор истории СССР периода империализма. Руководил им прекрасный человек — Л.М. Иванов. Поскольку в МГУ я занимался культурой у С.С. Дмитриева, то попытался в качестве темы кандидатской навязать что-то такое из Серебряного века. Леонид Михайлович меня, естественно, сдерживал. Кончилось тем, что сам придумал тему, позднее она стала звучать так: «“Легальный марксизм” и эволюция либерально-буржуазной идеологии в России». Неожиданный, но по-своему удачный выбор. Хотя, конечно, пришлось писать совсем не то, о чём думал. Диссертацию вымучивал. Это естественно и обычно для того времени, к сожалению.

У каждого была своя, как говорится, компашка, свои собутыльники, свои увлечения и неприятели. Мое пребывание в Институте разделилось на два неравных периода. Период аспирантуры — три года. Потом я отправился в армию, затем работал в одном интересном учреждении, именуемом Госкомиздат СССР. И вернулся, по-моему, в 1976 г. только после всех этих странствий. Это уже был совсем другой период. Что поменялось? Атмосфера поменялась. Люди другими стали... Период «застоя» сказался весьма основательно. Тут ведь многое зависело от общей политической атмосферы, от дирекции. Можно с определённой уверенностью сказать, что соответствующего пошиба директор, если думает, как бы угодить начальству, может за несколько лет Институт просто засушить в полном смысле слова. Увы, увы, это было. Институт превращался в какую-то пустыню, что ли.

Т.Ю. Красовицкая: Когда пришла в Институт в 1983 г., вполне была готова писать монографию и делать из неё докторскую диссертацию. Но доктор-

ские очень придерживали. У нас в секторе истории культуры докторами были В.С. Лельчук, Ю.С. Борисов и Л.В. Иванова, а В.Д. Есаков, А.П. Ненароков оставались кандидатами с 20-летним стажем. И я не могла перешагнуть через этих людей, понимала, что им уже 60 лет, а мне ещё 40 нет. Тогда все в секторе писали эту хваленую «Общую историю Великого Октября и становление советской культуры». Там каждому отводилось по печатному листу, но на это тратились годы. Безумная трата научных ресурсов. Проводилось огромное количество конференций, например, о периодизации культурного строительства, выяснялось, когда у нас началась культурная революция — в 1917 г. или в 1929 г., как Сталин написал в «Кратком курсе». Серьёзные люди об этом писали. Конференции проводились в хороших местах — Одессе, Баку, Таллине, Новосибирске, где издали целых три тома о том, что такое советская интеллигенция. Конечно, основная тема этих конференций была ерундовая. Но они всегда давали возможность вытащить со всех концов страны людей, которые занимаются наукой, но не могут приехать в Москву и там устроиться. На этих конференциях завязывались связи, шёл обмен мнениями и знаниями, архивными находками.

Средством заработать деньги служили преподавание и общество «Знание». Я ездила во все национальные регионы, не была только на Чукотке, несколько раз побывала на Дальнем Востоке, у сибирских народов (ханты-манси, ненцы, нанайцы...), Кавказ и так знала — Дагестан и Чечню, Армению, Азербайджан, Грузию. И это очень много дало: то, что смотрела в архивах или читала у других исследователей, — знание книжное, а здесь всё шупаешь, видишь жизнь людей.

С.В. Журавлёв: Когда я в 1989 г. пришёл в Институт, здесь еще работало порядка 500 человек. В присутственные дни в коридорах стоял шум и гам, люди активно общались между собой. Было довольно много молодёжи. Действовала даже волейбольная команда, которая периодически ходила играть в спортзал соседней школы. Через некоторое время мы пришли в профсоюз просить, чтобы нам купили теннисный стол. И его вскоре привезли вместе со всем необходимым: ракетками, шариками. Наверное, это был 1990 или 1991 г. Мы поставили этот стол напротив нынешнего Центра культуры — там, где одна из лестниц, по которой тогда реже ходили. Играли в теннис в присутственные дни (естественно, между заседаниями и другими мероприятиями или после них). Игра имела популярность, сотрудники приходили и поиграть, и посмотреть, и поболеть за «своих». Помню, хорошо играл А.В. Ковальчук.

Последние свои месяцы до отпуска действовали, но весьма формально, комсомольская и партийная организации. По профсоюзной линии экскурсий и культурных мероприятий было немало и, естественно, весело отмечали праздники, особенно новогодние. На ёлки сами сотрудники делали представления: наряжали кого-то Дедом Морозом и Снегурочкой, устраивали концерты, в том числе для детей сотрудников. Однако в начале 1990-х гг. жизнь единым коллективом стала сходить на нет, в условиях атомизации социальной сферы она переместилась в центры.

Трансформация из Института истории СССР АН СССР в Институт российской истории РАН в 1992 г. прошла для нас практически незаметно. А в целом 1990-е гг. оказались причудливым сочетанием творческой эйфории и больших ожиданий от «архивной революции» на фоне безденежья, экономической и политической нестабильности, методологической неопределённости, постоянных слухов о всё новых планах реформирования науки, и в связи с этим опасений

за судьбу Института и Академии наук в целом. Коллектив Института сжимался буквально на глазах. Часть сотрудников и аспирантов ушли сами — кто в бизнес, кто в госструктуры, где лучше платили. Других увольняли по разнарядке сверху. Например, уволили всех младших научных сотрудников без степени. Особенно сильно пострадал вспомогательный персонал, в секторах практически не осталось секретарей, ведших делопроизводство. В запустении оказался богатейший архив Института: из трёх или четырёх архивистов не осталось ни одного, работу архива на несколько десятилетий пришлось «законсервировать».

Постепенно в Институте остались либо подвижники, которые без науки совершенно не мыслили свою жизнь, либо учёные старшего поколения, уже добившиеся признания профессии, которым поздно было менять сферу деятельности. В моральном и в материальном плане резкое падение доходов и перемены в отношении к учёным в обществе воспринимались очень болезненно, ведь в советские времена научная профессия считалась одной из самых престижных, и учёные относились к высокооплачиваемой и уважаемой элите. Накопления в условиях реформ, конечно, обесценились, но у многих коллег из старшего поколения имелась хотя бы «подушка безопасности» в виде приобретённых в советские времена квартир и дач. Молодым историкам, которым нужно было создавать семьи и поднимать детей, в материальном плане пришлось труднее. Вспоминаю, как назначение летом 1992 г. Е.Т. Гайдара и.о. главы российского правительства было воспринято сотрудниками Института с надеждой. Мол, сам он из научной среды, да и родные работают в гуманитарном институте — наверняка подскажут, что науку и учёных нужно материально и морально поддержать. Ничего подобного, однако, не произошло.

На одну зарплату прожить стало невозможно. Кто-то подрабатывал в вузах, в архивах, занимался репетиторством, кто-то устраивался ночным сторожем. Дошло до того, что сотрудники Института расхватали ставки уборщиц и «по совместительству» мыли коридоры. Наиболее весомым источником доходов с учётом разницы курса валют стали зарубежные гранты, но воспользоваться ими могли преимущественно молодые учёные.

Мне в этом смысле повезло. В 1994—1995 гг. по одной из программ я более полугода изучал документы по своей теме в США — сначала в Национальных архивах в Вашингтоне, затем в Гуверовском институте в Стэнфорде. Вторые полгода в США по программе Фулбрайт пришлось уже на середину 2000-х. В 1990-е гг. состоялось и моё знакомство с германскими коллегами. Особенно сильное впечатление произвело общение с лидерами мировой истории повседневности и микроистории А. Людке и Х. Медиком из ныне уже, к сожалению, не существующего Института истории общества М. Планка в Гёттингене. Так что я не склонен оценивать постсоветские десятилетия исключительно в тёмных тонах. Наиболее светлые воспоминания связаны с коллегами по центру и с опытом международного сотрудничества, с интеграцией в мировое научное сообщество, где Институт находился на лидирующих позициях.

Наш сектор (сначала советского источниковедения, позже — центр новейшей истории России и политологии) выделялся в Институте во многом благодаря неординарной личности А.К. Соколова. Он был человеком знающим и креативным. Одним из немногих в коллективе, кто владел компьютером, понимал значение современных информационных технологий и стремился к их внедрению. Многие вещи, которые появлялись сначала у нас, затем подхватывались другими научными подразделениями и становились достоянием всего Института. Благодаря полученному Соколовым гранту РГНФ, наш центр

был первым укомплектован компьютерной техникой (компьютерами, принтерами и сканерами). В помещении нашего центра был смонтирован первый институтский сервер, отсюда же в 1990-е гг. мы наладили выход в Интернет и устойчивую связь по электронной почте, а М.Ю. Мухиным был создан первый «самодельный» сайт Института. Техническое обеспечение всего этого хозяйства, а постепенное и обслуживание компьютерной техники Института в целом взял на себя приглашенный Соколовым из РГГУ в середине 1990-х гг. А.Н. Родионов.

Всё это середина — вторая половина 1990-х гг. Многие вещи делались нами отчасти полуофициально, поскольку руководство Института на первых порах беспокоилось по поводу «бесконтрольного пользования сотрудниками Интернетом».

В 1990-е гг. наш центр стал выделяться активным сотрудничеством с иностранными коллегами. Пример показывал Соколов, научные заслуги которого довольно рано получили международное признание. Он имел обширные контакты среди иностранных учёных, которые, приезжая в Россию для работы в архивах, пользовались возможностью забежать к Андрею Константиновичу за консультацией или просто в знак признательности подарить свою книгу.

В Институте, как правило, часам к пяти уже никого не было. А в предбаннике нашего центра жизнь продолжалась. Андрей Константинович иногда допоздна засиживался с гостями, да и мы, его молодые сотрудники, тоже были не прочь составить компанию. На столе появлялось пиво с орешками или какие-то более серьёзные напитки, непринуждённый разговор хорошо шёл и под чай или кофе с печенюшками. Научные темы чередовались с откровениями «про жизнь» и загадочную русскую душу. Такие посиделки способствовали не только завязыванию дружеских отношений, но и профессиональному росту, там же рождались и идеи новых научных проектов.

Ю.А. Петров: Пришёл я младшим научным сотрудником и к концу 1980-х гг. ещё даже с половиной коллег не познакомился — их было так много, и они были такие важные. Да и знакомиться было практически негде, каких-то общественных собраний проводилось немного. А актовый зал не вмещал, наверное, и половины сотрудников. В середине 1980-х гг. тут больше 400 человек работали, а может и 500. Институт постоянно рос, в основном за счёт «советских» секторов. Этот период был приоритетным, считалось, что им-то и надо заниматься. Остальных вроде бы ценили, но больше мирились с тем, что есть ещё какие-то «феодалы» или занимающиеся XIX в. Когда я пришёл к учёному секретарю Л.М. Гаврилову с заявлением, В.И. Бовыкин объяснил: «Я беру нового сотрудника, заниматься будет экономической историей дореволюционного периода». Тот удивился: «Как, опять дореволюционного? А кто же будет заниматься историей рабочего класса, крестьянства?». Таких, однако, хватало и без меня.

В центре был очень хороший, дружелюбный коллектив. Тогда работали Ю.И. Кирьянов, А.Е. Иванов, Н.А. Иванова, И.М. Пушкарёва, А.Н. Боханов. Состав был мощный. Мы проводили время в дискуссиях в 34-й аудитории. Проходили заседания в творческой атмосфере — такой, что я даже первое время робел выступать с отзывами на доклады, за что получил нагоняй от научного руководителя, который требовал быть бойчее. В той же 34-й аудитории отмечался каждый праздник, традиция эта сохраняется и сейчас. Сектора устраивали застолья, и это было, может быть, даже интересней, чем заседания, потому

что здесь языки развязывались и люди говорили много такого, о чём в официальной обстановке помалкивали. Посиделки иногда сопровождались музыкальными номерами. Я очень люблю Высоцкого, Окуджаву, кое-что брался исполнить. Есть у меня и любимые песни, например: «Я вчера закончил ковку, / Я два плана залудил, / И в загранкомандировку / От завода угодил. / Копоть, сажу смол под душем, / Съел холодного язя / И инструкцию послушал, / Что там можно, что нельзя». Причём эта песня в конце 1980-х гг. была очень актуальна. Те, кто ездил в «загранку», сразу узнавали инструкцию для отъезжающих, переложенную в стихотворной форме.

Мы с А.М. Анфимовым часто курили на лестничной площадке (тогда это ещё было можно) и беседовали. Он проявлял интерес ко мне и рассказывал какие-то важные штучки. Так, от него я усвоил одно очень важное определение статистики, которое он дал как бы в шутку. По его словам, статистика подобна дамскому купальнику: показывает многое, но скрывает главное. И он был прав абсолютно, поскольку проработал с ней всю жизнь.

Как-то мы стояли в очереди в столовую с покойным ныне историком А.С. Аветяном, занимавшимся внешней политикой, и он сказал: «Слушайте, чего нам ещё-то надо? У нас и так санаторный режим». Столовая была неплохая, присутственных дней всего два, а остальные свободны. Да все советские люди мечтали бы жить в таком режиме. Работать здесь было привилегией, надбавки за учёные звания и степени давались автоматом и пожизненно. Верно говорят, мы в науке какую-то ренту получали, и это вызвало приток случайных людей, которых интересовали именно выгоды. Правда, была система «живой очереди»: монографии не чаще чем в пять лет, и за неё не заплатят, потому что вы уже зарплату получали. Это довольно жёсткое условие, особенно для людей, которые писали охотно, много и неплохо, но не могли ничего с этими рукописями сделать.

В 1990-х гг. начался, можно сказать, голод. У меня двое детей, их надо было кормить. Конечно, открылись возможности заработать на стороне: публиковаться в газетах, журналах, получать за это гонорары. Но это были копейки, которые не стоили трудов и отнимали много времени, отвлекали от науки. В 1994 г., когда был создан РГНФ, историки впервые обрели возможность получать гранты — небольшие, но хотя бы позволявшие прокормить семью. Появились международные связи. Я впервые поехал на стажировку за границу, в Германию, в апреле 1992 г.: фонд «Штифтунг Фольксваген» давал гранты молодым российским учёным, занимавшимся историей и проблемами отношений России и Германии. Я получил у них грант, по тем временам очень большие, просто гигантские деньги — 3 тыс. марок в месяц (примерно 2 тыс. долларов), такие суммы нам тут и не снились. Благодаря этой стажировке мне удалось привезти часть денег домой и остаться в науке — иначе вставал вопрос, чем заниматься, чтобы элементарно прожить.

Кстати, соблазн больших иностранных денег в 1990-е гг. был очень силён, и оставаться в науке было совсем непросто. Мне это удалось: я нашёл направление, которое начал развивать с помощью коллег — история российского предпринимательства. Собственно, это было то же, чем я занимался в советское время, но немножко под другим названием. В итоге в 1999 г. защитил докторскую диссертацию «Московская буржуазия в начале XX в.: предпринимательство и политика». Это кульминационная точка в карьере учёного, потом опубликовал книгу по диссертации, которая получила Макариевскую премию 2-й степени в 2002 г., и дальше жизнь наладилась.

«Серьёзный был директор...»

И.М. Пушкарёва: В 1950 г. бюро Отделения и Институт истории возглавлял академик Б.Д. Греков. Их помещения разделял зал, где заседал Учёный совет. В комнате директора находились столы его заместителей, С.Л. Утченко и А.А. Новосельского, и учёного секретаря. В 1953 г. Б.Д. Греков умер, директором до 1959 г. был А.Л. Сидоров, заместители оставались всё те же, а бюро Отделения возглавил академик М.Н. Тихомиров, учёным секретарём ещё раньше был назначен Л.Н. Пушкарёв.

Жизнь коллектива зависела в какой-то мере от позиции руководства. А это были директор и всегда в тесном с ним тандеме секретарь парткома; не меньшую роль в их связи с коллективом играл председатель профкома. На всех этих должностях были видные учёные, все — доктора наук. Они определяли общий тон работы Института. Во всяком случае, директора были, конечно, проводниками советской идеологии, а их исследовательский интерес становился определяющим для всех секторов. Так, в 1933 г. в Ленинграде с докладом «Рабство и феодализм в Древней Руси» выступил Греков, тогда — восходящее светило советской науки. Он настаивал на формационном подходе к исторической науке в марксистском понимании её. Естественно, когда в 1938 г. он стал директором Института, то принял разработку этой проблемы, прежде всего на примере положения крестьян в Древней Руси. Эта тематика стала основной и в исследовательских планах заведующего нашим сектором Н.М. Дружинина и остались у него навсегда. История крестьянства стала преобладающей и в других секторах. Эта зависимость от интересов директора в шутиливой форме, но очень точно отражена в газете «Советский историк» Пушкарёвым: «Путь из варягов в греки / Насколько было сил, / Борис Димитрич Греков, / Подробно изучил. / Он был у нас директор / И правил без помех, / А феодальный сектор / Любил он больше всех». В общении у него был такой «питерский стиль», чего ни у кого потом из директоров не было. И вообще во времена Грекова к нам приезжало очень много сотрудников ЛОИИ. Там работал его сводный брат с другой фамилией, который тоже часто бывал у нас — на Учёных советах и не только. И вообще была такая патриархальная обстановка.

С приходом А.Л. Сидорова всё изменилось. Сам он был из крестьян Нижегородской губ., слушатель партийных школ, окончил Институт красной профессуры, тогда как Греков происходил из семьи дореволюционных чиновников далеко не средней руки, окончил Варшавский университет, работал в учебных заведениях Петербурга. Приход Сидорова в Институт отвечал нарастанию партийности в науке. В 1928 г. он критиковал И.И. Минца за антипартийные взгляды, выступал с позиций «национальной» школы в изучении империализма. В его взглядах было немало противоречий. Но ему историческая наука в России должна быть благодарна за доклад на Учёном совете в 1957 г. о пусть и опосредованном, конечно, но пересмотре догм «Краткого курса», за умение увлечь этим своих учеников. В результате начала воссоздаваться естественная линия развития ряда важных проблем в советской историографии. По словам Льва Никитича, Сидоров «Серьёзный был директор, / Экономистов бог, / Капитализма сектор / Он пестовал, как мог». При этом «Он правил нами долго, / Бранил, а не ласкал, / По матушке по Волге, / Случалось, пускал...».

Совершенно другим был сменивший его на посту директора Института В.М. Хвостов, сын известного в XIX в. историка М.М. Хвостова, лауреат двух Сталинских премий, имевший в МИД ранг чрезвычайного и полномочного по-

сланника 1-го класса. Он «директор был природный, / Высокий интеллект. / При нём международный / Усилился аспект... / Здоровался он, будто / С песчинкою — гора... / Пришла для Института / Тут новая пора». Действительно, он был очень высокого роста, смотрел сверху вниз на всех и определённо казался надменным. Его сразу стали побаиваться в коллехтиве, обходили в коридоре, старались иметь дело с его заместителями, учёным секретарём, председателем профкома. Хвостов сразу же захотел создать в Институте сектор по истории международных отношений. Его замысел был полостью воплощён в жизнь директором Института в 1974—1979 гг. А.Л. Нарочницким.

Заместители играли иногда не меньшую роль, чем директора. Например, при А.Л. Сидорове и П.В. Волобуеве 17 лет заместителем директора был тесно связанный с отделами науки и идеологии ЦК КПСС Л.С. Гапоненко. Он раньше был профессором Академии общественных наук. Как писал Лев Никитич, «Пришёл к нам замдиректор / Гапоненко Лука. / Уж он советский сектор / Баюкал на руках! / Старался современность / Он выдвинуть вперёд, / Загнал поглубже древность, / Терпи, честной народ! / Он правил в Институте / Почти пятнадцать лет. / Во всём дошел до сути, / Знал кадры и бюджет, / И, как Макиавелли, / Ходы все изучил. / Но вот на этом деле / Он астму получил». Стихи эти были напечатаны в газете «Советский историк», получили одобрение в парткоме и профкоме, знали о них и в Краснопресненском райкоме КПСС. Они передают атмосферу общественной жизни тех лет.

А.Е. Иванов: П.В. Волобуев был очень умный человек и очень крупный историк. Но ему не давали работать. 50% монографий Института отсеивалось в АН и никогда не увидело свет. Я же работал в дирекции фактически, в редакционно-издательском отделе. Там при очень забавных обстоятельствах познакомился с академиком И.И. Минцем. Это яркая фигура, умнейший человек, оратор прекрасный. Он затеял бюллетень международной комиссии по Октябрьской революции и Гражданской войне. Принесли мне рукопись на редактирование. Думаю, покажу, как надо. Открыл — первая статья Минца. Когда его слушаешь — впечатление одно, а когда читаешь — совсем другое: какой-то местечковый стиль, все слова нужно переставить в обратном порядке. Чем я и занялся. Всех прочих академиков (болгарских, румынских и т.д.) вообще разделал — всё выкрасил. Принёс, положил Минцу на стол, он открыл, посмотрел и говорит: «Вы можете выйти». А потом спрашивает: «А кто этот Иванов, откуда появился?». Ему говорят: «Ну, его только что взяли». — «Сейчас же пойду к Волобуеву и скажу, чтобы он его уволил немедленно». Мне тут же передали. Заранее никто не предупредил, что академика нельзя править — всё должно быть в первозданном виде, потому что это гениально. Ну, думаю, конец мне пришёл. Жду, когда Волобуев вызовет и выгонит. Нет, принесли обратно бюллетень, вся моя правка принята — кроме Минца, который взял и убрал подальше своё писание. А потом он очень хорошо, тепло и уважительно ко мне относился. Но как к нему потом отнеслись... Раньше, когда он приезжал, дамы спускались вниз, вели его, впереди бежал Витя Миллер и кричал: «Дорогу академику Минцу!». А когда всё рухнуло, никто его больше не встречал. И этот бедный, полуслепой и почти глухой старик маленького роста, как Король Лир, натёкался на всех, а на него смотрели презрительно: пошёл, мол, отсюда. Это было очень печально.

Потом пришёл к нам академик А.Л. Нарочницкий, но он был абсолютно чужой нашему Институту человек. Он очень не любил наших сотрудников и опасался, что они могут его подвести. И поэтому, когда из Института военной

истории выгнали кучу полковников, он их взял и сказал: «Да, они, конечно, люди не очень даровитые, но меня методологически не подведут». И они не подвели, действительно. Просто пять лет отработали, заработали по «Волге», не сдали ни одной строки, развернулись и ушли.

«Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы». Мы были ему чужие. Когда ему приносили какую-нибудь бумагу подписать или приходила вёрстка, он хватал ручку и начинал править, выскребать оттуда всякие, как ему казалось, вредные для него вещи. И всё время боролся с «новым направлением», и это так ЦК надоело, что его прогнали и вместо него прислали С.С. Хромова. И, как ни странно, в Институте наступила тишина. Он стремился умиротворить обстановку. И, кстати, ему это удалось. Гонимым, К.Н. Тарновскому и В.П. Данилову, он дал возможность, наконец, защитить диссертации, и всё успокоилось вокруг них. Мне дал должность старшего научного сотрудника. Я стал вдруг преуспевающим материально человеком! Получал 120 руб. А доктор — 160 руб. Всё было очень противоречиво: с одной стороны, очень жёсткая методологическая дисциплина, с другой, забота, чтобы учёный получал и не нуждался. Это было, никуда не денешься.

В.П. Буддаков: Я застал ещё П.В. Волобуева. Об этом человеке могу совершенно искренне сказать только хорошее. Наверно, никого так не любил, как его. Затем был А.Л. Нарочницкий. Человек тяжёлый, охранительного такого типа. Долго здесь он не усидел. Его просто не переизбрали в своё время. То, что холодом от него веяло, всем было известно. У него была такая кликуха «сэр Алекс». Действительно, можно было зайти в его кабинет — он мог не предложить присесть, и прочее. В общем, как-то сверху вниз разговаривал, прямо скажем. Известен тем, что он контролировал полностью институтскую продукцию, страницами вычёркивал в чужих рукописях то, что не нравится, как хотел. Это всё было. Меня не затронуло, к счастью. С.С. Хромов был такой весельчак коммунистический, в меру циничный. Ну и бабник, говорят. Правда, на него никто не обижался, сколько мне известно. Я к нему как-то относился также примерно, несколько весело. Он всё писал то про Ф.Э. Дзержинского, то про С.К. Орджоникидзе — какие они были великие деятели. До конца жизни, под 90 лет, уже не будучи директором, сидел в РГАСПИ, причём упорно так, всегда на одном месте, что-то там такое выписывал. Мы с ним радостно здоровались. Конечно, это был человек своего времени. Но не злой. У него кликуха была «Хромосёма» или «Хромосём», он, наверное, знал, но относился к этому спокойно. Что интересно, он считался «специалистом» абсолютно по всем периодам и всем проблемам. Если нужно было ехать за границу, отправлялся только сам. Для него кто-то писал соответствующий доклад, он там выступал и все удивлялись, какой он всезнающий человек и как такое может быть.

А.П. Новосельцеву я очень симпатизировал. Может быть, потому что мы запросто курили на лестнице вместе. Он был демократичным, хотя про него всякие гадости говорили: алкоголик, ещё что-то такое. Мне это было совершенно по барабану, чисто по-человечески я к нему хорошо относился. И вообще себя как-то поймал на том, что отношение к коллеге определялось симпатиями личного характера, а не какими-то научными заслугами, т.е. можно было не соглашаться и ругаться, но и оставаться в дружеских отношениях. Ничего удивительного, на мой взгляд, здесь нет. Это, в общем-то, естественно. Про А.Н. Сахарова я говорить не буду. Я его откровенно не любил. Правда, не сразу это сложилось.

В.Я. Гросул: В.М. Хвостов, будучи инициатором создания нашего сектора стран народной демократии, считал его своим детищем и часто к нам приходил. Простой аспирант, я несколько раз беседовал с ним, академиком, по поводу своей темы, значимость которой не сразу признали. Но мне удалось её объяснить, и он меня понял, за что я ему очень благодарен. Хотя говорили, что он человек заносчивый, барин. Потом возник конфликт между ним и партийной организацией. Но Владимир Михайлович был, конечно, человек умный, знающий. И лично мне он оказал большую помощь, оставил меня в Институте.

А.Л. Нарочницкий занимался всеобщей историей и хорошо относился к моим первым книгам. Правда, потом у нас с ним возник конфликт, поскольку я стал заниматься революционной тематикой, а ему это не нравилось, но затем мы с ним помирились. Я прекрасно знал С.С. Хромова, был у него председателем профкома, входил в «тройку». Был в дружеских отношениях с А.П. Новосельцевым, он был директором, а я был секретарём партбюро, возглавлял партийную организацию. Он был ранее секретарём партбюро и очень хотел, чтобы я его сменил. Главная задача директора — создать условия для работы исследователя, это самая главная задача. И когда я был секретарём партбюро, тоже так считал.

А.Н. Сахаров: С 1984 по 2000 г. был очень интересный и плодотворный период в моей работе. Я многому научился у людей, с которыми сотрудничал: на работах, с которыми знакомился, на дискуссиях, на Учёных советах, докладах, которые там заслушивал. Это всё расширяло и кругозор, и диапазон исторический, и образовывало меня как человека, как учёного, очень помогало. Конечно, многие свои вещи (не знаю, какие они — хорошие или плохие) не написал бы, если бы не работал в Институте.

Применительно к российской истории полагаю, что где-то в конце 1980-х, в 1990-е гг., в начале XXI в. учёные нашей страны на основании открытых источников достигли большего, чем зарубежные. Я встречался со многими по проблемам, связанным с 1920—1930-ми гг., по которым источники у нас были раскрыты, но ещё не доступны за рубежом, и они оказывались на периферии этих исследований. Институт занимал и, я думаю, до сих пор занимает ключевые позиции в исследовании вновь открытых материалов.

Творческая личность — это личность и талантливая, и где-то ограниченная, и где-то очень широкая. Личность, которая очень остро (порой слишком остро) реагирует на внешние импульсы, на критику, в частности. Личность очень ранимая, к которой надо относиться по-особому. Творческий человек — это всё-таки человек, наделённый определённым талантом. Я в шутку говорил, что в Институте российской истории каждый человек — это штучный товар и требует к себе штучного отношения. Людей похожих нет. Это надо учитывать, и я старался это учитывать. Может быть, хорошо, может быть, иногда не удавалось мне это делать.

С.В. Журавлёв: Не могу похвастаться богатым опытом общения с директорами. Кроме Ю.А. Петрова, разумеется. При А.Н. Сахарове, в кабинете которого за 20 лет я побывал, наверное, лишь пару раз, старался держаться подальше от начальства. Меня, конечно, не оставило равнодушным недостойное поведение Андрея Николаевича по отношению к моему учителю С.О. Шмидту, которого он откровенно травил и в итоге заставил уйти из Института. Кстати, Шмидт считал Сахарова «не бесталанным учёным, но подленьким человеком». Неоднократно я наблюдал и то, как А.К. Соколов возвращался в центр

с трясущимися руками после «проработок» директора. Позже он иногда проговаривался, что доставалось ему в том числе за моё поведение. Например, однажды, с его слов, гнев Сахарова вызвало то, что я был приглашён и с успехом выступил с докладом в университете Вены, а главная австрийская газета даже поместила об этом заметку. Когда следом за мной в этот университет приехал с визитом Сахаров, ему сказали, что об уровне Института уже знают по выступлению Журавлёва. Это вызвало приступ ревности с последующим резким выговором Соколову. Примерно в тот же период времени корреспондент «ВВС» приехал в Институт с просьбой дать интервью об одном революционере. После интервью он поблагодарил и добавил, что мой английский лучше, чем у директора, у которого он, как оказалось, брал интервью прямо до меня. Зная о ревности Сахарова, я подумал, как мне повезло, что директор давал интервью первым, и поэтому у корреспондента не было возможности сообщить Сахарову то же самое. Иначе повторение «австрийского инцидента» могло бы вызвать непредсказуемые последствия.

Бесспорно, Сахаров останется противоречивой фигурой в истории Института. Он руководил им в трудное время, когда далеко не всё от него зависело, но сумел в итоге сохранить Институт. Сахаров был жёстким, властным администратором и умелым оратором. Так и не подружившись с компьютером и будучи загруженным административными обязанностями, он старался находить время для занятия наукой. Одной из серьёзных ошибок, которые он совершил, была ликвидация источниковедения как исследовательского направления в Институте. Политические воззрения этого бывшего номенклатурного работника коренным образом поменялись после распада СССР, неизбежно оказав влияние на приоритеты в деятельности Института. Он позиционировал себя как государственный и выступал последовательным сторонником «антинорманизма», ратовал за реабилитацию монархии, негативно отзывался о большевиках и советском прошлом, рассматривая его с позиции «тоталитарной» концепции. В фаворе оказывались учёные, подстраивавшиеся под его мнение или придерживавшиеся схожих с руководством позиций, а не совпадавшие с ними предпочитали открыто не афишировать свою точку зрения. Это порождало нездоровую атмосферу в коллективе. Освобождение науки от советских идеологических мифов порой сопровождалось новым мифотворчеством, в основе которого, по большому счёту, лежала та же политическая конъюнктура, но с иным знаком.

В.В. Шелохаев: С директорами я общался исключительно по служебным делам и по их личному вызову. Будучи секретарём комсомольской организации Института, два раза общался с Б.А. Рыбаковым — исключительно по делам комсомола. С П.В. Волобуевым встречался чаще, ибо он по своей тематике был самым тесным образом связан с сектором капитализма. Несколько раз встречался с ним во время подготовки конференции во Львове в 1972 г., проведение которой в итоге было запрещено отделом науки ЦК. С А.Л. Нарочницким говорил всего два раза: в первый — относительно организации избирательной кампании, а во второй — он мне разрешил работать над темой монографии «Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии в 1907—1914 гг.». С С.С. Хромов принял меня один раз, когда я переходил на работу из Института в ИМЛ при ЦК КПСС. Опыт этих встреч лично меня никак не воодушевлял. Ю.А. Петров пригласил меня вернуться в Институт и сменить на посту заведующего центром истории России XIX—XX вв.

А.П. Корелина, давно стремившегося уйти в отставку. Юрия Александровича я знаю со времени его аспирантского пребывания в секторе истории буржуазно-демократических революций. Он сразу же проявил себя как талантливый человек, способный генерировать и реализовывать новаторские идеи. Затем многие годы сотрудничали в РГНФ. Работать с талантливыми людьми всегда приятно. Поэтому я без колебаний принял его предложение и в апреле 2012 г. возвратился в родные пенаты.

Ю.А. Петров: С.С. Хромов был человеком партийной номенклатуры и все эти ритуалы хорошо соблюдал, поэтому говорить что-то конкретное о его руководстве не могу. Это небожитель, у которого я в кабинете ни разу не был. Я с ним если и пересекался, то во время каких-нибудь торжественных собраний, когда из зала слушал доклад. А.П. Новосельцева я тоже не знал лично, и тоже ни разу у него в кабинете не был. И мне, что называется, не по чину было, чего мне там делать? Но — не знаю, его ли эта заслуга или нет, — обстановка с его избранием начала сильно меняться. Это был, конечно, результат и того, что в стране происходило. Помню возбуждённое настроение каких-то ожиданий (видимо, общее тогда). Мы все чего-то ждали, чего-то хотели, хотя не очень понимали, чего именно. Но когда разрешили вдруг провести выборы директора, чего не было никогда (директор — номенклатурная должность, его «спускали» сверху)... Помню, были две кандидатуры — В.П. Шерстобитов и Новосельцев, выступали их доверенные лица. И обстановка была такая, что выбрали Анатолия Петровича. Все были просто в шоке от собственной смелости и дееспособности! Для тогдашнего молодого поколения это, конечно, прорыв. Мы почувствовали, что перестройка дошла, наконец, и до нас.

Новосельцев оказался человеком из другой когорты. Никаких гаек административных не закручивал, не пытался «сорвать стоп-кран» и предотвратить какие-то «нежелательные явления». Он был кабинетным учёным — и прекрасным, надо сказать, учёным, знал столько древних языков! Работы у него замечательные, я смотрел кое-какие из них и высоко ценил. Очень жаль, что он так рано скончался и не успел сделать многого из того, что задумал. А каким он был администратором — даже не знаю, у меня нет данных, чтобы об этом судить. Но при нём — благодаря ему или нет — всё начало резко меняться. Какие-то идеи появились: давайте сделаем это, давайте напишем то, издадим сборник «Россия в 1913 году»...

Я не хочу говорить плохо о своём предшественнике А.Н. Сахарове, но какая-то атмосфера — как у Райкина: «мерзопакостная» — наступила во всём. Я себя чувствовал с коллегами нормально, а с начальством — нет, совсем некомфортно. Поэтому, когда поступило предложение перейти на работу в Центральный банк и возглавить там сектор истории, я его принял. Тем более что, не скрою, и в финансовом отношении это, конечно, было весьма выгодно. Работал там с 2004 по 2010 г., но Институт не забывал. Со временем мне стало несколько томительно. Я сделал хорошие и очень важные проекты: это и двухтомная энциклопедия «Экономическая история России с древнейших времён до 1917 г.» (М., 2008), и двухтомная «История Банка России, 1860—2010» (М., 2010), выпущенная к 150-летию Центрального банка, и каталог собрания Музейно-экспозиционного фонда Банка России «Российские ценные бумаги» в трёх томах (М., 2010). При этом я был членом исполнительного комитета Международной ассоциации экономической истории, участвовал в мировых конгрессах, т.е. из науки не уходил.

Но рамки банка мне становились тесноваты, и в 2010 г. я решил попробовать баллотироваться на должность директора Института. Это можно было сделать либо по решению Учёного совета Института, либо по письму академиков. Я, конечно, понимал, что на Учёном совете шансов у меня нет. И решил принять участие по письму дружественных академиков. Мне казалось, что эпоха Сахарова себя изжила. Она привела к падению авторитета и уровня Института. Надо отдать должное, в 1990-е гг. Сахарову удалось удержать Институт, спасти его. Но последнее его десятилетие показывало, что Институт деградирует, я это видел. И из желания что-то сделать для заведения, которое никогда не забывал и с которым связи никогда не терял, пошёл на эту авантюру. Хотя чувствовал, что даже в самом Институте не всем это нравится, а некоторые в коридорах отпускали издевательские реплики, мол, денег заработал в банке, а теперь решил себе ещё и должность занять важную.

Если говорить о выборах, то, конечно, ситуация получилась довольно гнусная. Сахаров и поддерживающая его группа (а возглавлял её академик В.А. Виноградов) выдвинули тогда комбинацию, при которой директором стал бы А.А. Данилов — человек, потом печально прославившийся. Но его никто всерьёз не воспринимал, считалось, что он будет менеджером, а всё останется по-прежнему. Эту комбинацию мне удалось порушить, хотя знаю, что и в самой Академии, и в Отделении моя кандидатура не воспринималась в качестве желательной.

В результате я выиграл выборы. Прямо скажу — своей заслуги в этом не преувеличиваю. Результат был скорее протестным, и в основном сыграли роль филологи, поскольку у нас общее Отделение. Филологи припомнили Сахарову его редакторство в издательстве «Наука» (он там их обижал) и дружно проголосовали «против». Думаю, если объективно оценивать этот исход, Институт удалось избавить от большого скандала. Если бы Данилов стал директором — с учётом того, что через год-два вскрылись обстоятельства его деятельности в качестве председателя диссертационного совета МПГУ, — Институт получил бы очень сильный репутационный удар. Считаю, что поступил правильно — и надеюсь, что это было полезно и для Института, а может быть, и для всей исторической науки.

«Идеология имела большое влияние в нашей исторической науке»

И.М. Пушкарёва: Научное ядро Института в 1950-е гг. представляли старшие научные сотрудники, окончившие Институт красной профессуры или РАНИОН, профессора МГУ. Когорта старых большевиков ещё задавала тон при обсуждении работ. К ним относились с большим почтением, как и к учёным, начавшим свою деятельность до 1917 г. На Учёном совете Института в 1950-е гг. ещё появлялся и высказывал свои мысли В.Д. Бонч-Бруевич, выступал Е.В. Тарле, говоривший о Крымской войне, в секторе новой истории проходили встречи с И.М. Майским. Участниками революционного движения были Н.М. Дружинин и А.М. Панкратова. Б.П. Козьмин, окончивший юридический факультет Московского университета в 1910 г., долго работал в «Обществе политкаторжан и ссыльных переселенцев». Вместе с тем всё заметнее становилось присутствие сотрудников и аспирантов, вернувшихся с войны. При общении фронтовики, конечно, задавали тон. А.Л. Сидоров, став директором в 1953 г., активно начал выдвигать молодых учёных. При этом Институт выполнял поручения Президиума Академии наук, идеологического отдела, отдела науки

ЦК КПСС, был связан с Министерством образования. Это находило отражение прежде всего в деятельности секторов отечественной и всеобщей истории XIX—XX вв., хотя опосредованно затрагивало и другие сектора, особенно когда речь заходила о марксизме и общественных формациях.

В начале марта 1956 г. Президиум ЦК постановил разослать заключительный доклад Н.С. Хрущёва XX съезду партийным организациям с грифом «не для печати». В «Правде» появилась передовая статья «Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма?» и, наконец, разрешили зачитывать доклад на закрытых партийных собраниях. В нашей парторганизации читка проходила в апреле в актовом зале Октябрьского райкома КПСС на Шаболовке. Вопросы и обсуждение после прочтения запрещались, а текст запирался в сейфах в местных партийных комитетах. Ошеломлённая услышанным, я молча переживала вместе с товарищами. Крушение иллюзий испытали тогда многие, и у меня это чувство сохранялось ещё долго.

В начале 1950-х гг. райкомы партии и комсомола требовали от нас прежде всего организации общественных работ на субботнике, при Хрущёве — встреч на Ленинском проспекте иностранных гостей. На комсомольских собраниях мы слушали сообщения «о жизни и работе» каждого из нас. Обсуждали и новые книги, это тоже входило в обязанность. Обычно собирались у кого-нибудь дома. Например, в большой квартире А.М. Соловьёвой, в присутствии её мамы-художницы, говорили о повести К.Г. Паустовского «Золотая роза».

От позиции партийной организации зависело очень многое. Любая бумага шла из Института за тремя подписями: директора, секретаря партбюро и председателя профкома. Это были уважаемые в коллективе люди. Мягко, но требовательно они должны были проводить соответствующую времени идеологическую политику, разбираться в запутанных проблемах и вместе с тем беречь кадры. В 1950 г. секретарём партбюро был Л.М. Иванов, фронтовик, ученик Н.М. Дружинина, ставший по его рекомендации в 1951 г. исполняющим обязанности заведующего нашим сектором (его докторская диссертация была на подходе, вскоре он был утверждён в должности и занимал её до самой смерти в 1972 г.). Во главе парткома его сменила Н.А. Сидорова, доктор наук, одновременно и заведующая сектором истории Средних веков, защитившая диссертацию о П. Абеляре. Она была смелым секретарём, могла открыто сказать то, что другим могли и не простить. Ведь партком находился под контролем Особого отдела ЦК. Её преемником стал фронтовик и будущий академик Г.Н. Севастьянов, позднее заведовавший сектором истории США, — добрый, умный, глубоко интеллигентный человек.

Секретари партийной организации Института выполняли трудную, особенно на исходе «оттепели», задачу, выступая посредниками между учёными и отделами ЦК партии. В 1960-е гг. в партбюро появились другие настроения и люди, заявлявшие о неприемлемости бюрократических принципов руководства наукой. В партбюро защищали А.М. Некрича, выпустившего в 1965 г. книгу «1941. 22 июня», обвинявшую Сталина в неподготовленности СССР к войне. В 1967 г. Некрич был исключён из партии решением КПК, в обход первичной организации. В.М. Хвостов счёл невозможным участвовать в конфликте с ЦК, а партбюро во главе с В.П. Даниловым полностью оторвалось от директора, который молча недоумевал, наблюдая за обстановкой. В последний день работы, шествуя по коридору, к выходу он, прощаясь с кем-то, громко произнёс: «Институт это не академическое учреждение, а собрание вольных художников».

Я это слышала сама. Возникший конфликт ускорил давно намечавшийся раздел Института.

Ещё более болезненным оказался разгром «нового направления» в 1970-е гг. Во время «оттепели» после XX съезда КПСС учёные Института решили освободиться от слепого следования постулатам «Краткого курса». В центре дискуссий оказались предпосылки социалистической революции и социально-экономическая история России XIX — начала XX в. А.Л. Сидоров ставил перед учениками (М.Я. Гефтером, П.В. Волобуевым, В.И. Бовыкиным, К.Н. Тарновским и др.) конкретные научные задачи: исследовать роль иностранного капитала, степень зависимости России от мировых держав, возникновение монополий в российской промышленности, своеобразие политической надстройки империи. Шла работа с источниками. Ученики Сидорова В.А. Емец и А.М. Анфимов публиковали архивные материалы об экономическом положении России накануне революции. Но поскольку архивная база не была ещё разработана, обсуждение правильности или неправильности тех или иных положений сводилось к их сопоставлению со словами Ленина и других классиков марксизма. Переоценка экономических предпосылок социалистической революции и готовности к ней рабочего класса вела к пересмотру соотношения классовых и политических сил, роли партий, включая и большевиков. В 1957 г. в «Вопросах философии» появилась статья Волобуева «Ленин о диалектике отсталости и революции в России», но в начале «оттепели» она осталась незамеченной.

В 1959 г., покинув пост директора Института, Сидоров возглавил Научный совет «Исторические предпосылки Великой Октябрьской социалистической революции». На проводившихся им конференциях, в которых активно участвовал институтский сектор истории капитализма, доклады так или иначе касались зрелости русского капитализма, развития его монополистических форм, многоукладности экономики империи. Благодаря авторитету Сидорова споры по этим вопросам проходили спокойно. В 1961—1964 гг. появились книги А.М. Анфимова о русской деревне начала XX в., П.В. Волобуева об экономической политике Временного правительства, К.Н. Тарновского об изучении предпосылок 1917 г. в советской историографии. Решение намеченных Сидоровым задач продолжалось и после его смерти в марте 1966 г.

Между тем заведующий Отделом науки ЦК С.П. Трапезников, опубликовавший в середине 1960-х гг. большим тиражом книгу «Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос», стал претендовать на звание члена-корреспондента Академии наук. А в 1970 г., за год до его участия в выборах, в члены-корреспонденты избрали П.В. Волобуева, назначенного в 1969 г. директором Института истории СССР. И Павел Васильевич на заседании бюро Отделения истории дал нелицеприятную характеристику работам Трапезникова, что явно повлияло на решение академиков. На следующий год Трапезников предпринял вторую попытку, заявил, что учёл многие замечания, но опять проиграл выборы. Поэтому Отдел науки и, в частности, заведующий сектором науки и учебных заведений С.С. Хромов стали предвзято относиться и к Волобуеву, и к возглавляемому им Институту, где все эти обстоятельства мало кому были известны.

Уже в 1970 г. в Отделе науки подвергся критике сборник статей о российском пролетариате. Тогда же появилось выражение «новое направление». Ещё в 1956 г. Сидоров пригласил в Институт историка-экономиста И.Ф. Гиндина, готовившегося к защите докторской диссертации о банках и экономической политике царского правительства. Иосиф Фролович активно участвовал во

всех обсуждениях, был очень горячим оратором. В начале 1970-х гг. после одной из дискуссий он, выйдя в коридор, громко сказал, что речь шла о «новом направлении». Его слова подхватили сотрудники Института, дошли они и до Отдела науки ЦК КПСС, где Хромов и другие сразу причислили Волобуева к «новому направлению». Сам Волобуев в 1997 г., относил к этой группе единомышленников К.Н. Тарновского, И.Ф. Гиндина, В.П. Данилова, Л.М. Иванова, А.Я. Авреха, А.М. Анфимова, К.Ф. Шацилло, М.С. Симонову и В.В. Адамова (из Свердловска). Сохраняя верность ленинским положениям о наличии материально-организационных предпосылок для победы социализма в России, они в своих научных изысканиях и публичных выступлениях, по сути, ничего подобного не обнаруживали.

Обстановка постепенно накалялась. В конце 1971 г. Отдел науки предложил Волобуеву провести в Институте собрание и обсудить на нём все проблемы, связанные с историей революции и её освещением московскими и ленинградскими историками. Заседание было намечено на 9 марта 1972 г. Волобуева отговаривали от его проведения, сомнения высказывали заведующие секторов В.И. Буганов, Л.Г. Бескровный, А.П. Новосельцев, Ю.А. Поляков, П.Н. Соболев, а они были не робкого десятка. Павел Васильевич сказал мне тогда: «Не волнуйся, мы хорошо подготовились, приедут хлопцы из Питера». Он имел в виду В.И. Старцева и О.Н. Знаменского. Действительно, для подготовки к дискуссии было приложено немало сил. Как ни парадоксально, но борьбу с догматизмом и начётничеством планировалось вести с помощью этих же методов: на ротاپринте издали цитатник, в котором положения, подвергавшиеся критике, подтверждались цитатами из работ Маркса и Ленина, перед президиумом на длинном столе, покрытом зелёным сукном, стояли в ряд тома Полного собрания сочинений Ленина. Этого не ожидали ни сотрудники аппарата ЦК, ни оказавшиеся в президиуме представители Черемушкинского райкома. В результате сторонники «нового направления» отбили все нарекания, но уже на следующий день в кулуарах продолжавшегося собрания заговорили о том, что надо бы ради спасения Института признать за собой некоторые методологические ошибки.

Волобуев ходил на приём к главному идеологу — секретарю ЦК М.А. Суслову. Тот разговаривал с ним любезно. Но в 1972 г. в печати один за другим появлялись резкие отзывы о работах сотрудников сектора истории капитализма, а затем на них обрушился журнал «Вопросы истории КПСС». В июне 1972 г. по инициативе секретаря ЦК академика П.Н. Поспелова и не без участия Отдела науки бюро Отделения истории АН СССР приняло постановление, осуждавшее «новое направление», которое обвинялось в покушении на теорию формаций, в отрицании закономерности их смены, в игнорировании предпосылок Октябрьской революции. Ряд изданных Институт истории СССР книг «не рекомендовалось» использовать в учебном процессе. Вскоре отменили и конференцию, которую Тарновский должен был организовать во Львове в октябре 1972 г. для обсуждения положения рабочего класса в капиталистической России.

13 октября 1972 г. П.В. Волобуев и секретарь партийной организации В.И. Неупокоев, используя свои знакомства, опубликовали в «Правде» покаянное письмо о готовности учесть критику и исправлять допущенные ошибки. 6 января 1973 г. в «Правде» вновь отмечалось, что Институт истории СССР принимает сделанные замечания. Но это не помогло. 21—22 марта 1973 г. в Отделе науки состоялось совещание с участием представителей Черёмушкинского райкома и историков партии из разных учреждений Москвы и Ленинграда.

Оно началось с доклада Трапезникова, в котором «новому направлению» вменялось в вину преувеличение стихийности Февральской революции и оппозиционности либерального движения, умаление роли большевиков и сомнение в готовности пролетариата к гегемонии в борьбе за социализм. Ответственность за это возлагалась персонально на Волобуева. Докладчик и те, кто выступил в его поддержку, указывали на «грубые методологические ошибки», которые «допускал Институт истории», отступивший от ленинского учения. В частности, горячо оспаривалось мнение Авреха о том, что крестьянство было классовой опорой самодержавия, Тарновского упрекали за недооценку развития в России капиталистических отношений, критиковались также М.С. Волин, Ю.И. Кирьянов, М.С. Симонова, С.В. Тютюкин, Г.М. Деренковский.

В Институте пришлось создать комиссию из заведующих секторами, которая обещала новыми трудами доказать верность марксистско-ленинской методологии и т.д. В 1974 г. Волобуев был снят с поста директора и переведён в другой институт старшим научным сотрудником. Тарновский, Емец, Аврех, Симонова перешли в другие сектора. Но и после ухода Волобуева давление на сотрудников продолжилось, а редактирование их трудов в издательстве «Наука» приостановилось. В 1971 г. Учёный совет утвердил Волобуева ответственным редактором моей книги «Железнодорожники России в буржуазно-демократических революциях». Затем Павел Васильевич предложил, чтобы им стал В.И. Селицкий (поддерживавший его в марте 1972 г.). Но вёрстка всё равно пролежала в типографии целый год, предлагалось даже её сократить, поскольку оценка профессиональной организации железнодорожных служащих и их участия в революции 1917 г. вызывала подозрение.

При А.Л. Нарочницком научные дискуссии прекратились, возникли зоны умолчания, упал интерес к методологическим и теоретическим вопросам, к постановке крупных проблем, дирекция меняла формулировки исследовательских тем и названия книг. Институт медленно вползал в идеологический застой.

Н.А. Иванова: Сейчас человек, если сталкивается с какими-то проблемами, остаётся один на один с администрацией, с заведующим в лучшем случае, а тогда всё решалось тройкой: партком, местком и администрация. Наш партком с 1965 г. возглавляли В.П. Данилов и его помощник К.Н. Тарновский. Они составили предложения по улучшению работы Института и демократизации обстановки в науке, и это обсуждалось, имело резонанс, но не имело практического результата. Потому что эти предложения подали в отдел науки ЦК КПСС, но реакции никакой не последовало. А потом, когда в 1970-е гг. начали «закручивать гайки», всё пошло в обратную сторону: критика, увольнения, сокращения, снятие Волобуева с поста директора, перевод ряда сотрудников из сектора капитализма в другие сектора, а это означало смену проблематики. «Новое направление» обвинили во всех смертных грехах. Хотя что такое «новое направление»? В науке должны быть новые направления, если мы будем всё время идти по накатанному пути, то как развиваться науке? Ничего в нём такого не было, было иное, чем раньше, понимание ряда вопросов, но из него сделали нечто ревизионистское, антимарксистское...

Идеология, конечно, имела большое влияние в нашей исторической науке. Учёные пытались различным путём выйти за её рамки. Каким образом? Например, через изучение ленинских работ в развитии. Ленин был для нас бог, его труды цитировали и этим всё обосновывали. Но Ленин говорил в конце XIX в. одно, а после революции 1917 г. совершенно другое. Не потому даже, что ме-

нял убеждения, просто менялась ситуация, атмосфера. И вот пытались проследить эволюцию этих взглядов, говорили: «Вы нас упрекаете в том-то, а Ленин, по существу, выходил на то же самое». «Новое направление» связано с многоукладностью. Ленин писал о многоукладности в 1919 г., хотя в конце XIX в. он утверждал, что у нас капитализм победил. Конечно, самый важный путь — выйти за идеологию, за доктрину путём привлечения фактического материала. Когда учёные изучают материал или архивный, или из опубликованных источников, то находят новые вещи, можно даже и не связывать это с большой идеей, но сам материал подводит к новым выводам и показывает новые пути исследования. И писали книжки, которые вроде как в той же доктрине, но по фактическому материалу выходили за её рамки.

В.В. Шелохаев: Тенденция к изменению подлинно научного климата наметилась после критики, прозвучавшей со стороны отдела науки ЦК КПСС. Возглавлявший его С.П. Трапезников активно приступил к «выкорчёвке» «нового направления» в исторической науке. Прервана была творческая работа гефтеровского семинара, представителей «нового направления», в том числе из нашего сектора, перевели в другие подразделения. Ужесточился идеологический контроль над докладами и сообщениями, с которыми сотрудники Института должны были выступать на научных конференциях. После смерти Л.М. Иванова в январе 1972 г. приступили к «дележу» нашего сектора как одного из очагов «нового направления». На его базе возникли сектора капитализма (его возглавил А.М. Анфимов) и империализма, который вскоре преобразовали в сектор истории буржуазно-демократических революций в России (им руководил В.И. Бовыкин).

Представители «нового направления» воспринимали «оттепель» как попытку отказа от жёстких формулировок «Краткого курса», полагали, что настало время для возврата к подлинному прочтению и осмыслению классиков марксизма-ленинизма, рассмотрения исторического процесса как многомерного исторического явления. Эта логика получила, в частности, отражение в знаменитом докладе партбюро Института в 1965 г. По сути, он попытался «просигнализировать» об идеологических тенденциях, начавших проявляться после октябрьского пленума ЦК 1964 г. Представители «нового направления» на научных конференциях 1967, 1970 и 1972 гг. как-то пытались удержать историческую науку от правого поворота, однако сделать это не удалось, ибо рычаги управления наукой находились в иных руках. Можно лишь констатировать, что рубеж 1960—1970-х гг. стал переломным временем. Это, естественно, не могло не сказаться и на атмосфере в Институте, на тематике исследований его сотрудников. С закручиванием идеологических гаек живая общественная жизнь стала подменяться помпезными обсуждениями творений Л.И. Брежнева.

А.Е. Иванов: Я пришёл в Институт в 1971 г. Это была довольно глухая пора, когда никакой внутренней общественно-культурной жизни почти не было. Но ранее Институт был очень на слуху у интеллигентной московской публики. Данилова я в глаза не видел, но знал, что он вызывал трепетное отношение в кругах диссидентствующей интеллигенции, очень относительно либеральной. Все мы в то время полагали, что если бы жив остался Владимир Ильич, то жизнь в стране была бы совершенно другой: без репрессий, гармоничной, был бы социализм с человеческим лицом. Такая вера была не только у меня, это было всеобщее убеждение.

Все вопросы решались в отделе науки ЦК. Тут даже говорить нечего. Институт подвергался жесточайшим гонениям с его стороны. Коллектив оказался разбит надвое: тех, для кого «Краткий курс» был библией, и тех, кто хотел сказать новое слово. И те, кто шёл за отделом науки, дай им возможность, казнили бы тех, кто на противоположной стороне. Там ведь как происходило. Во-первых, придумали «новое направление» в историографии — ревизионистское и чуть ли не фашистское. Под этот каток попало довольно много людей. П.В. Волобуева спасло только то, что он был член-корреспондент АН, его сослали в Институт истории, естествознания и техники. Очень хороший институт, тихая заводь. И он там 10 лет находился в ссылке, занимался историей науки. Потом вернулся сюда, когда произошла амнистия, и продолжил научную работу, стал академиком, но здоровье ему, конечно, подорвали так, что он скоро умер.

Наиболее трагической фигурой оказался выдающийся историк К.Н. Тарновский, написавший блестящую монографию о мелкой кустарной промышленности. Его травили нещадно. В 1970 г. он защитил в Институте докторскую диссертацию «Проблемы социально-экономической истории империалистической России на современном этапе советской исторической науки». ВАК её зарубил и не вернул ему. Только когда пришёл к нам С.С. Хромов, он собрал некоторых гонимых, понимая, что это источник беспокойства и подспудного недоброжелательства по отношению к руководству Института, и предложил защитить новые работы. Тарновский ездил в наше Ленинградское отделение, потому что здесь бы его «завалили», и там защитил в 1981 г. диссертацию «Ленинская “Искра” в борьбе за создание марксистской партии в России». А когда он умер, его жену вызвали в ВАК, вручили ей диплом о второй защите и вернули текст. Я видел эту рукопись, на которой стоял штамп «секретно».

Профком В.Я. Гросула всегда старался нам помочь, выписывал какие-то премии. Профком вообще был хорошей организацией. А Н.А. Ивницкий просто спас меня от изгнания из Института. Я даже не ожидал, что он встанет на мою защиту. Меня травил негодяй Микулович, полковник в отставке, который в отделе кадров сидел. Я же учился с П.И. Якиром, мы домами дружили. И подписал пару писем в защиту А.И. Гинзбурга, Ю.Т. Галанкова и, кажется, генерала П.Г. Григоренко. Микулович это узнал и пытался меня отсюда вытурить. Но Волобуев вызвал меня к себе и сказал: «Нужно сделать так, чтобы местком проголосовал против Вашего изгнания из Института. Поговорите». А когда я от него вышел, ко мне подбежала А.Л. Хорошкевич со словами: «Эти сволочи хотят Вас, такого прекрасного человека и редактора, уволить. Мы проголосовали единогласно за то, чтобы Вас оставить». Местком проголосовал, спасибо Ивницкому. И мне Павел Васильевич сказал: «Я имею право дезавуировать любое решение, но я своим правом не воспользуюсь». Потом, когда тучи рассеялись, началась светлая пора свободы, мы с ним паспорта получали заграничные, и он спросил: «Ну что, Вас выпустили?». Я удивился: «А что, меня не выпускали что ли?». — «Ну, конечно, Вы были невыездной».

Травили, травили всех подряд. Вообще тут такая была тяжёлая, смрадная обстановка. Но люди держались за Институт, потому что и те и другие любили историю. А в отделе науки ЦК кричали: «Почему у вас так много по феодализму работ? Зачем он нужен нам, этот феодализм?». Поэтому здесь были нравы те ещё. Гарантированно проходило всё, что о революции, о рабочем классе как гегемоне и о крестьянстве. Моя книга пять лет пролежала в столе, задерживалась и вычёркивалась из всех редакционно-издательских планов, потому что в

ней были либеральная профессура, какое-то студенчество, которое выглядело гораздо более революционным, чем рабочий класс. Существовали чисто догматические требования, которые не исполнять нельзя было... Но нам очень помог, между прочим, Ленин. Потому что подберёшь цитатку и оправдаешь своё.

Помню, когда защищал кандидатскую, должен был получить рекомендацию от «треугольника», в частности от парткома. Ну, думаю, всё, конец — не пустят. Идет секретарь парткома А.А. Преображенский. Я к нему, блеющим голосом: «Александр Александрович!..». — «На какой предмет?». — «Да вот, диссертацию защищать надо». — «С удовольствием подписываю!». Взял и подписал. И его преемник Ю.А. Тихонов был очень спокойный человек. Так что я к парткому относился настороженно, но вреда они мне большого не приносили.

Перестройка дала абсолютную свободу для историографии, это очевидный факт, который опровергнуть нельзя. И воспользовался этой свободой А.Н. Сахаров. Раньше у нас всё время писали какие-то многотомники бесконечные, коллективные работы: история рабочего класса, история крестьянства и чёрт знает ещё что... «Братская могила». При Сахарове всё это прекратилось, было сказано: пишите монографии, ребята — то, что любите, и то, что вам интересно. Сменился режим работы, кончилась диктатура партии, установился режим свободы исследования и все стали писать с упоением. Не помню ни одного случая, чтобы прорабатывали за какие-то ошибки. Могли отвергнуть как недобросовестное исследование, плохое и т.д. Но разноса за методологию — ничего этого не было, как написал, так и публикуем. Я пользовался этой обстановкой: написал «Высшую школу», а потом ещё пять монографий. И мы до сих пор пользуемся этой свободой от крепостной зависимости, пишем свои любимые монографии.

А.И. Аксёнов: Директор не мог своей волей закрыть какое-то подразделение, открыть новое. Это всё можно было сделать только через согласие с профкомом и парткомом, но там сидели все наши товарищи, пусть старшие, но мы друг друга знали... Все мы люди как люди, кто-то попал в вытрезвитель — ну что ж, дело житейское. Из вытрезвителя приходит бумага, а куда? Прежде всего, в партком, но секретарь вызывает: «Ну-ка, дружок, давай на беседу». Побеседовали и всё. Дальше бумага не шла, а ведь могла бы пойти — со всеми последующими осложнениями. Тоже один из факторов этой самой общественной жизни... Секретарь парткома — человек, который, как говорится, ногой открывал дверь к директору, что очень немаловажно. В известной мере он отстаивал и интересы простого исследователя. Мало ли в какое положение мог попасть сам сотрудник. Скажем, дирекция вынуждена ставить вопрос о его отчислении, и здесь роль парткома и профкома, без всякого сомнения, очень значима, потому что они могли поддержать дирекцию, а скорее всего — не поддержать.

Чтобы избежать идеологического давления, лучше было заниматься древностью, в крайнем случае капитализмом. Потому что отношение к советской истории как к таковой было довольно снисходительным. Имелась в виду не только слабая источниковая база, но и то, как люди пишут: конъюнктурно или неконъюнктурно. А неконъюнктурно тогда писать по советскому периоду было практически нельзя. Была ещё такая наука «история партии», которая была для многих вектором, по которому можно легко идти, написать кандидатскую в этом духе и т.д. Я идеологически был всё-таки защищён своим XVIII столетием.

Г.А. Санин: В середине 1970-х гг. я три года был в составе партбюро Института и ведал организацией субботников и воскресников, а также плодотворной базой — организовывал работу, которую учёные не должны были делать. Через «не хочу», но народ ходил. Партком обсуждал наиболее важные проблемы, высказывались мнения и обсуждение было абсолютно спокойным, свободным, демократическим. Партком не навязывал решений дирекции, как и дирекция не навязывала решений парткому. Мы просто работали в одном направлении. Но, конечно, случались спорные и напряжённые моменты, скажем, дело Г.Д. Алексеевой. Она писала о Н.И. Бухарине, и ей доставалось — и по линии дирекции, и партком высказывал мнение. В этом плане мне, конечно, было легче, я писал по истории феодализма. Ссылки на документы партии и правительства есть? Есть. Ссылки на работы Ленина есть? Есть. Всё в порядке. А что там внутри написано — это Главлит мало интересовало.

В.П. Булдаков: Без всякой цензуры все знали, что можно писать, а что нет. Разумеется, соблазн перейти границы дозволенного присутствовал всегда... Как бы то ни было, если доктор наук, то в течение пяти лет должен выложить 20 листов монографии и тут же получить особую премию. Люди «разумные» этим пользовались: одну монографию слепили, потом чуточку изменили тематику — другую выдали. Переписывали самих себя. В известном смысле курорт, а не научное подвигничество. Ещё писали коллективные работы, ненавидя их. Я не составлял исключения. Ужас перед такого рода трудами у меня до сих пор сохранился.

Я ходил на открытые партийные собрания. Все ходили. Запомнил любопытный случай. Я был профоргом, а тогда определённые документы — характеристики — подписывал «треугольник». И я не хотел подписывать характеристику на одного деятеля. Меня уламывали. В конечном счёте я подписал с большой-большой оговоркой — «особое мнение». И ортодоксальные партийные товарищи по этому поводу страшно негодовали. Не нравилось это. Против партии пошёл. Хотя я этого вовсе не хотел.

А.Н. Сахаров: Когда я касался русского крестьянства или дипломатии Древней Руси, идеология влияла: следовало знать, что об этом думали и писали классики марксизма-ленинизма. Надо сказать, что я читал их с большим удовольствием, потому что К. Маркс и Ф. Энгельс были людьми огромного общественного, научного, исследовательского диапазона, а кроме того, блестящими беллетристами, замечательными писателями. Соприкосновение с работами Маркса и особенно Энгельса стало для меня большим откровением, и я об этом вспоминаю с большим удовольствием. До сих пор иногда смотрю некоторые из них: и «Немецкую идеологию», и полемику Маркса с П.-Ж. Прудоном. Это были замечательные мыслители и отрицать их влияние невозможно. И я его с удовольствием использовал там, где моя тема соприкасалась с работами классиков марксизма-ленинизма. Но не скажу, что это органично вытекало из необходимости моей работы. Это было во многом формально. Интересно, но формально. Можно было использовать это, а можно было не использовать, ничего бы не изменилось. Это был привесок, и такое формальное привешивание их высказываний к каждой работе было, конечно, ненужным и вредным. А на этом строились очень многие работы даже в Институте истории. Люди щеголяли знанием трудов «классиков», ловили друг друга на неправильном цитировании. Не думаю, что это усиливало научный элемент их работ. Эта идеологическая ортодоксальность, закоснелость «краткокурсовая» шла от сталин-

ских установок, от борьбы с инакомыслием. И все, кого он подбирал под себя и с кем сотрудничал, это носители закоснелых догм марксизма-ленинизма. На самом деле никакого марксизма там не было. Ленинизм, сталинизм — может быть, был. Думаю, если подойти с тех позиций к диалектике Маркса и Энгельса, им бы очень сильно досталось от ЦК КПСС.

Я отнесился довольно сочувственно к «новому направлению», потому что это научная мысль. Это были люди очень интересные в научном плане, ищущие: и П.В. Волобуев, и К.Н. Тарновский, и Ю.И. Кирьянов, и А.Я. Аврех, и другие. Помню даже, когда был в издательстве «Наука», меня вызвал на беседу будущий директор Института С.С. Хромов и сказал: «Послушай! Мне кажется, что ты всё-таки в глубине души сочувствуешь Волобуеву». Я сказал, что я ему не сочувствую — мне интересны мысли, которые высказывает учёный. Хромов мне сказал: «Ну, ты смотри!». Я понял, что надо смотреть. Ведь даже не сочувствие, а просто подозрение, что работник издательства «Наука» может сочувственно относиться к «новому направлению» и в чём-то это выразить — в разговоре, поддержке или отсутствии критики, — уже считалось криминалом. И за это мне тогда заведующий сектором истории выговорил.

В 1985—1986 гг. идеология стала потихоньку слабеть, размываться. Это всё ещё очень чувствовалось, но уже шли обсуждения, уже проросли семена и Н.И. Бухарина, и Л.Д. Троцкого, и А.И. Рыкова. Этого не боялись, многие об этом говорили уже без осуждения, хотя были и противники. Короче говоря, постепенно шло вширь и вглубь, и это было очень интересно, научно и перспективно. Это был, я считаю, замечательный период в истории Института и нашей науки — освобождение от идеологических пут, от культа, от догм. Всё это рухнуло на рубеже 1980—1990-х гг. Думаю, что мы не были до этого частью мировой науки. Мы позиционировали себя как часть науки и выступали на конгрессах, наши статьи печатались за рубежом, но органической частью науки как таковой мы всё-таки не были в силу огромного количества ограничений — политических, организационных и идеологических. А когда эта стена рухнула, наша наука действительно стала частью общемировой.

Ю.А. Петров: Мы уже в середине 1980-х гг. понимали, что в исторической науке трактуется в идеологических целях. Было настороженное отношение к занимающимся советским периодом — знали, что среди них много конъюнктурщиков. Там были достойные люди — такие как, скажем, И.Е. Зеленин или В.С. Лельчук, действительно учёные, но превалировали занимавшиеся сугубо доктринальными темами с заданными результатами. Мы понимали, что это не наука, и не считали их за своих.

«Фига в кармане» у нас была, но мы её по тем временам не часто доставали. Присутствовали скепсис и понимание того, что что-то должно измениться, хотя мы не понимали, что и как, и никто из нас, конечно, не предполагал, что через пару-тройку лет исчезнут Советский Союз и Коммунистическая партия. Обновленческие настроения были сильны, но консервативные, может быть, даже сильнее. Приверженность догмам, следование указаниям были, что называется, в крови — и в мозгу — многих из старшего поколения. Есть даже анекдот, похожий на быль, когда после одного из бурных обсуждений в зале Учёного совета, после разговоров о свободе слова вышел на трибуну один сотрудник и сказал: «Я всё понимаю: гласность, перестройка, это замечательно. Но какие же будут указания?». Вот это — квинтэссенция настроений части людей того времени. Они ждали, что им скажут, что делать.

В.И. Бовыкин к тому времени уже ушёл с заведования сектором буржуазно-демократических революций — почувствовал, что на волне перестройки ему начинают предъявлять претензии из-за разгрома «нового направления», в чём, я убеждён, он, как человек достаточно дипломатичный и умный, не участвовал. Он не разделял позиции К.Н. Тарновского, призывов к изучению многоукладности, и мне тоже эта идея не близка. Многоукладность это заимствованный у Ленина концепт, за которым реального содержания немного. Но я глубоко убеждён, что разгром «нового направления» — преступление тогдашней номенклатуры. Нельзя через колено ломать людей и, по существу, закрывать целое направление, которое было абсолютно безопасным. Опасение того, что они каким-то образом чему-то там навредят — чушь, они были такие же убеждённые партийцы, как и те, кто их критиковал в ЦК. Повторяю, у этой теории многоукладности были оппоненты, не все с ней соглашались, в том числе и Бовыкин. Но никаких карательных мер он не применял, я это знаю точно. Наоборот, хотел, чтобы Тарновский защитился. К тому, что ему не дали защититься, он отношения не имел. Но, тем не менее, шлейф в виде сплетен и слухов тянулся и очень негативно на Бовыкина действовал. Может быть, это стало одной из причин того, что он так рано, в 70 лет, ушёл из жизни от инфаркта.

Молодым всё-таки было проще. Мы сильно властью не были ни обласканы, ни избалованы, поэтому нам с ней расставаться было не так жаль. К концу 1980-х гг. общим местом стал выход из партии. Но я именно в 1989 г. вступил в КПСС. По каким соображениям? Не скрою, наверное, и карьерным, может быть, плохо, в отличие от моих коллег, предвидел исход событий. Но главным образом, потому что поверил Горбачёву, что он реально хочет модернизировать страну, и хотел быть каким-то образом полезным в этом деле. Так что не скрываю и не стыжусь того, что был членом партии, билет не сжигал и не выбрасывал, он у меня хранится.

В.Я. Гросул: В 1990-е гг. трудности были самого разного порядка. Мы потеряли две трети состава Института, у нас было почти 500 работников, но не только научных сотрудников. А сейчас 160. Мы потеряли ряд направлений. У нас практически погибло декабристоведение, мы потеряли историю народничества, социал-демократии, крестьянства, рабочего класса, т.е. непосредственных производителей. Перестали изучать низы, и это неправильно.

Политика, конечно, оказывала и будет оказывать влияние на историю всегда, пока существует государство. Между начальником и историком всегда были и будут противоречия. Историк хочет писать то, что он думает, а у государства свои цели. Ну, а кто сильнее — начальник или историк? Сами понимаете. Но вместе с тем сейчас, конечно, можно писать вполне объективные труды. При всём тяжёлом положении страны сегодня всё-таки можно высказывать своё мнение, и в рамках нашего Института в том числе. Историк же должен быть, прежде всего, великим тружеником, чтобы вычерпать огромное количество источников, не потонуть в них, и найти в них главное — пружины. Это вообще-то, я считаю, часто от Бога: уметь находить главное, не запутаться.